

Воспоминания

О СВЕТЛОМ И ПЕЧАЛЬНОМ, ВЕСЕЛОМ
И ГРУСТНОМ, ПРОСТО О ЖИЗНИ



Этой поездкой увозил меня в июле
1976г. в Варшаву советскими
корреспондентами ТАСС. Обратную я
вернувшая уже в Москву. 17 июля 1976г
Галкин.

Галкин Игорь Александрович

Игорь Галкин

**Воспоминания. О светлом
и печальном, веселом
и грустном, просто о жизни**

«Издательские решения»

Галкин И. А.

Воспоминания. О светлом и печальном, веселом и грустном, просто о жизни / И. А. Галкин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743195-2

Автобиография Игоря Александровича включает в себя воспоминания о годах жизни с 1937 по 1980. В книгу также включены статьи об Алексии втором и Иоанне Павле втором.

ISBN 978-5-44-743195-2

© Галкин И. А.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	7
Глава I: Родословная	8
Федор Высотин	8
Наследники Федора Высотина	10
Дядя Гриша – Григорий Степанович Высотин	11
Мама Вера Степановна Галкина, в девичестве Высотина	15
Немного о лагерных похождениях дяди Гриши	17
Андрей Степанович и Аркадий Степанович Высотины	18
Капитон Рудаков и Арсанофий Капитонович Рудаков	19
Бабушка Александра Арсанофьевна Галкина (Рудакова)	20
Дед Павел Макарович Галкин	21
Дети Павла Макаровича и Александры Арсанофьевны	22
Глава II: Наше родовое гнездо	23
Племянник Виктор Борисович Галкин	23
Игорь Борисович Галкин	25
Дети Фаины Борисовны Галкиной	26
Дочь Валентина Александровича Галкина Лена	27
О поселке Солгинском	28
Контрасты времени и конек Карько	29
Еще о деде Павле Макаровиче Галкине	30
Отец Александр Павлович Галкин	31
Рассказ мамы Веры Степановны о папе	32
О ловкости папы Александра Павловича	33
Глава III: Война	34
Проводы папы Александра Павловича на войну	35
Жизнь во время войны	36
Голод	37
Шаньги	38
Ягоды и грибы севера	39
Рыба из Вели и колхозные поля	40
Семья Елизаветкиных	41
Бабский генерал Тетерин	42
День Победы	43
Посылки от папы	44
Ранение папы	45
Встреча папы	46
Рассказы Папы о войне	47
Трагикомические истории о войне	49
Глава IV: Послевоенные годы	51
Выступление папы, как ветерана войны	51
Валяние валенков	53
Попытка уехать	55
Афера с подменой имен братьев	56
Строительство комбината в Солге	57
О советской пропаганде	59
Глава V: Школьные годы в Солге	60

Школа и взросление	60
Газета «Ленинский пуд»	62
Начальные классы	63
Деревня и школа	65
Учительница литературы Валентина Яковлевна	66
О детском турде в колхозе	67
Несчастный случай	69
Глава VI: Санаторий	70
Туберкулез кости	70
Ленинград	72
Первое знакомство с детьми	73
Кодекс чести	74
Привыкание к санаторию	76
Школа в санатории	77
Культура Ленинграда	78
Чтение	80
Работа школы в санатории	81
Послеобеденный распорядок	84
Вечерняя жизнь в санатории	86
Шефы санатория	87
Лечение Марком Твенном	88
Расширение горизонтов	89
О стремлении родни к перемене мест	90
О семье в это время	91
Заочная школа	92
Анкилоз	93
Операция по удалению колена	94
Прощание с санаторием	96
Глава VII: Старшие классы в поселке Солгинском	97
Возвращение в поселок	97
О советской жизни тех лет (конец 50-х годов)	99
Авантюрный характер Бориса	100
Слабый характер Валентина	103
О родне в это время (1953 г.)	104
О проблемах деревни, фронтовиков, пьянках	106
Одежда	108
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Воспоминания
О светлом и печальном, веселом
и грустном, просто о жизни

Игорь Александрович Галкин

© Игорь Александрович Галкин, 2020

ISBN 978-5-4474-3195-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Полшестого утра. Подремав полночь перед телевизором, я так и не заснул. Вспомнил о давнем обещании себе – написать воспоминания для своих детей и внуков.

Сегодня – суббота 30 марта 2002 года. А обещание я дал себе 25 июля 1977 года, отмечая свое 40-летие. Мне казалось в тот день, что жизнь покатила на закат. Многие из намерений не выполнено. А потомки по моей линии, как и я, не узнают о родословной и жизни наших старших поколений.

На эти размышления меня натолкнул сам характер моего юбилея. Нашей первой семьей мы жили тогда в Варшаве, где я работал корреспондентом ТАСС. На лето отправил домой в Калинин (нынешняя Тверь) жену Людмилу и сыновей Петю и Вадика. Первому тогда шел пятнадцатый год, второму исполнилось семь.

Наши лучшие друзья – семейство корреспондента «Правды» Владимира Фомина (жена его Ганна, которую мы называли Галиной, уже становившаяся невестой Олеся и Ирочка – подруга нашего Вадика) тоже уехали в отпуск в Ростов-на-Дону. Ни с кем другим мне в тот день не хотелось видиться. Я дежурил весь день в отделении ТАСС, поздновато приехал усталый домой на улицу Груецкую и вспомнил, что я – в Европе, что в кошельке есть деньги и пошел отмечать свой юбилей.

Поблизости, на площади Нарutowича, зашел в заурядное кафе, сел за маленький круглый столик на двух человек и заказал уж не помню что (всего скорее «сурувку» – как называют поляки овощной салат, и возможно, бигос – отнюдь не ресторанное блюдо – жирная домашняя колбаса, нарезанное мясо, кислая тушеная капуста и острая приправа. Под водку – что надо.

Официантка, очевидно, отметила мой унылый вид и явное нежелание к общению, весь вечер отводила от меня посетителей и оставила одного за столиком. Только принимая заказ на четвертую стограммовую рюмку водки и закуску, с улыбкой «вмешалась в мою личную жизнь»:

– Czy pan jest peven, ze moze pozwolic sobie jeszcze jednego keliha? (Вы уверены, что можете позволить себе еще одну рюмку?)

В то время я мог себе позволить под подходящую закуску еще пару стограммовых рюмок и не выглядеть пьяным.

Тогда, глядя в окно на мощно вычерченный на фоне угасавшего неба контур костела с островерхим шпилем, венчаемым крестом, я почему-то начал думать о вечности, а пришел к банальному выводу, что с уходом на пенсию, обязательно начну писать воспоминания для семейного пользования. Я еще не предполагал тогда, сколько предстоит пережить и хорошего и тяжелого.

Скоро будет пять лет, как я получаю пенсию, но силы есть, я работаю обозревателем «Парламентской газеты». Но это слабое оправдание, что я до сих пор не брался за воспоминания. Будем считать это началом. Рассчитываю, что это будет в основном хронология, но временами, видимо, отражу и те моменты жизни как своей, а это значит и семьи, а также больших событий в стране. Видимо, запишу то, что в тот или иной момент придет мне в голову, какие эпизоды всплывут из памяти, что будет навеяно буднями и настроением. Пусть это будет повествованием без сюжета, потоком моего сознания.

Глава I: Родословная

Федор Высотин

На рубеже детства и отрочества мне навсегда врезалась в память одна фраза, которую иногда бросали мне сверстники. Надо сказать, что в тот период во мне проснулось большое любопытство ко всему, что я видел в жизни, и желание высказывать то, что я слышал или узнавал. Хотелось бы думать, что во мне зарождались тогда черты характера и мышления, необходимые в журналистике: любознательность и желание поведать об усвоенном, излить эмоции. А тогда это выливалось больше в хвастовство своими, прямо скажем, малыми еще познаниями и в желание поспорить с мальчишками, чтобы подтвердить свое «всезнайство».

Вот в таких перепалках иногда я и слышал: «Вы, Бурехины, все такие – семерых переспорите!»

Бурехины – это прозвище шло за маминой семьей, которое сама она не любила. Не знаю, почему. Она говорила: «Пусть нас называют Макаровы, а не Бурехины». Макаровы – это прозвище по папиной линии.

Как-то спросил маму, почему нас спорщиками называют. Она посмеялась:

– Госенька, да это идет от моего деда Федора Высотина. Только вот по бабушке-то его отчество я запомнила – припомню – скажу.

– А почему говорили, что он «семерых переспорил?», – спрашиваю маму.

– А спорщик был большой. Да ты у Гриши пораспроси. Он и сам в деда пошел, любил со стариками разговаривать о прошлом. Бывало, приедет из Архангельска-то и все вечера со стариками в разговорах.

Мамин брат и мой дядя Гриша был человек пытливый и въедливый, он вознамеривался даже докопаться до происхождения фамилий – Высотины по их с мамой линии и Галкины по линии папы. Ничего не узнал, но о Федоре Высотине мне кое-что рассказал. И про его любовь к спорам.

Федор Высотин, по словам дяди Гриши, был человеком сметливым, хитроватым и с чувством юмора. Во второй половине XIX века на севере (Архангельская губерния) крестьяне жили общинно. Там не существовало крепостного права. Север осваивали лихие новгородские мужики, часто не ладившие с общими правилами, за что получили прозвище ушкуйников. Свои пашни, покосы, вырубка общины периодически перераспределяли между семьями в зависимости от изменения количества едоков и трудоспособных. Все решали, хотя и не без шума, но в пределах своей общины. Труднее было проводить границы между другими общинами, то есть деревнями, и оценивать качество земель, связанное с налогообложением.

Община, в которую входила деревня Чистое Туймино (ныне – Филимоновская), где жили и Высотины, и Галкины, постоянно конфликтовала с деревнями Плоское и Усть-Подюга по поводу границы их земель. Федора Высотина и отправляли всем миром решать эти споры, да не прогадать дело. А он где хитростью, изворотливостью, напористостью, а где и подкупом землемеров умел защитить интересы своей общины. Вот и получил прозвище «Семерых переспорит».

Еще одну фразу сохраняли долго в своей памяти старики. Это о том, как Федор Высотин улаживал дело с землемерами, оценивавшими качество земли, а от качества зависели подати государству. Довольный сделками он рассказывал односельчанам:

– Идем с землемером-то по поляне или урочищу. Он-то уж устал и ноги мокрые, я ему: ты постой тут, один пробреду и тебе крикну, что за земля. И кричу: записывай: стою на мокре,

худа земляца – болотина. А сам-то стою на суше и на ус мотаю, на что-нибудь да пригодится. А в книгу землемерскую пишем – болотина.

Так плодовые земли выдавались за болота. Крестьяне радовались снижению податей и поили его. Как-то в Усть-Подюге он пировал неделю или больше. А сам Федор это так рассказывал:

– Попировал я и решил домой воротиться. С горы-то смотрю на деревню: думал, пока я пировал, мужики хоть крыши на домах-то переберут. А то ведь срам один. Нет, смотрю, не починили. Худы крыши. И говорю себе: я еще пойду, попирую, может изменится что-нибудь в Чистом Туймине.

Если удастся продлить это родовое повествование, мы можем рассудить, осталось ли что от характера и привычек Федора Высотина в последующих поколениях. Так же как и от второго прадеда – Капитона Рудакова.

Наследники Федора Высотина

А теперь, чтобы не прерывалась связь времен, продолжим рассказ о преемниках Федора Высотина.

Его сын Степан Федорович Высотин, вопреки колючему и хитроватому отцу, был, по свидетельству мамы и трех ее братьев Григория, Андрея и Аркадия, человеком мягким, незлобивым, спокойным и уравновешенным. И, судя по всему, не очень приспособленным к нелегкой крестьянской жизни тех лет, когда хоть в общине, хоть на отрубях практически все зависело от физической силы, от ручного труда, а значит, от количества работающих. А северная земля, приполярная природа и климат неблагоприятны. Тем более в условиях натурального хозяйствования. И ранее там трудно выживали поморы и охотники, а земледельцам без лесного и морского промысла была просто беда.

Наши предки, по нынешнему административному делению, жили в Вельском районе, который был в южной части Архангельской губернии – в непосредственной близости к нынешней Вологодской области где-то на широте Великого Устюга. В советское время административные деления переименовывались, и наш дядя Гриша больше называл пространство от Белого моря до вологодской границы не губернией, а Северным краем. И работал он в комитете комсомола Северного края.

Лесов и болот там, верно, много. Хороших почв – мало. Еще в двадцатые годы там частично использовалось подсечное земледелие, когда расчищалась от леса поляна, засеивалась сначала льном, потом два-три года почва родила другие культуры и истощалась, забрасывалась на произвол природы. Что такое – спилить вручную деревья, выкорчевать их без техники, взрыхлить сохой – это тяжелейший труд. Труд, результаты которого исчезают уже через три года.

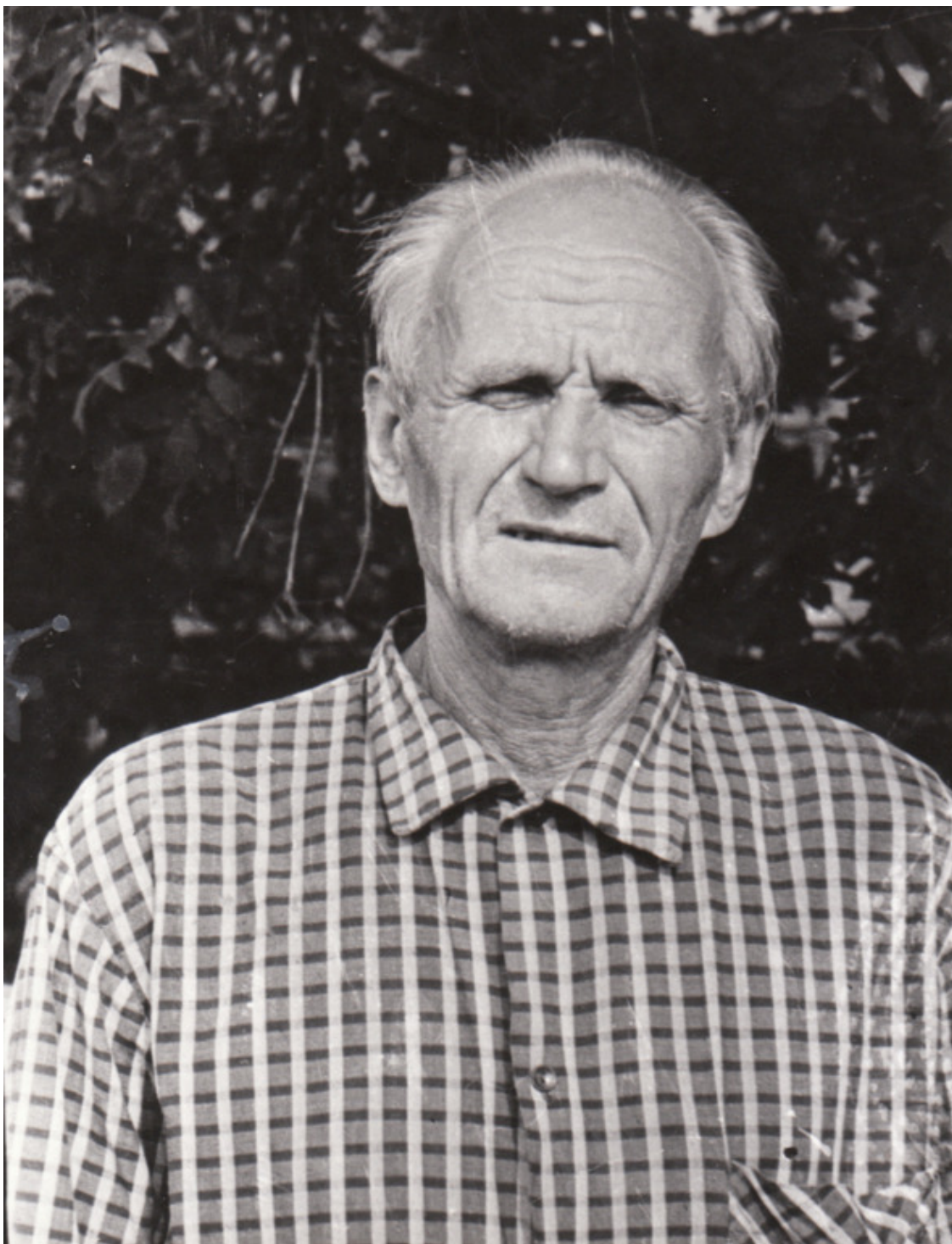
Степан Федорович надорвался и умер, оставив пятеро детей – старшему сыну – Ивану было 14 лет. Через два года и он от непосильного труда умер. И осталась в нищете семья из пяти человек. Бабушка Евфросинья Гавриловна пережила мужа лет на пятнадцать и успела познакомиться с моими братьями Валею и Борей (первый родился в 1930-м году, второй в 1931-м). Мама отзывалась о ней с большой нежностью и сочувствием. Наша мама – Вера Степановна Галкина (в девичестве Высотина) родилась в 1905 году, дядя Григорий Степанович Высотин 1908 года рождения и через каждые два года появлялись Андрей Степанович и Аркадий Степанович Высотины.

Когда мама и папа рассуждали, бывало, о прошлой жизни, то мама ее ругала, расстраивалась уже от самого упоминания о единоличном хозяйствовании. Папа, наоборот, защищал прошлое, потому что его семья жила получше – отец его Павел Маркович Галкин был практичным и работающим, страшно любил лошадей, держал по несколько коров, другой скот. Семья его, естественно, много работала, как и все, но не голодала. Поэтому Павел Маркович одним из последних вступил в организованный в Филимоновке колхоз, да и то после того, как единоличникам создали невыносимые налоговые условия.

Мама же видела в советской власти избавление от нищеты. Общинная система не позволяла умереть с голоду, но не более. А братья мамы оказались восприимчивы к тому, что нарождалось и навязывалось северной деревне, как, впрочем, и на других широтах великой России.

Дядя Гриша – Григорий Степанович Высотин

Дядя Гриша в свои семнадцать лет вступил в комсомол, потом стал ответственным секретарем волостного комитета ВЛКСМ с хорошим окладом. Закончил лесные курсы, которые, видимо, давали какие-то знания по технологии рубки, вывозки и сплава леса, а также по разделке древесины. Не могли же в те годы учить посадке северного леса. Государству север давал только древесину в основном на экспорт. Через некоторое время Григорий вошел в уездный комитет. В начале 30-х годов работал в Котласском райкоме, отличился на сплаве леса по притокам Северной Двины и был замечен Северным крайкомом ВЛКСМ, куда и переведен был в качестве инструктора. Поработал даже сотрудником краевой молодежной газеты «Северный комсомолец». Но тут началась чистка политических рядов в связи с покушением на Кирова и наш Григорий Степанович оказался весной 1935 года в первых же списках подследственных.



Высотин Григорий Степанович

Пока он шел по политической лестнице, то был уверен в себе, хорошо одевался, купил в Филимоновке дом на всякий случай (единственный дом в деревне с винтовой лестницей прямо из нижней комнаты в мезонин). Привозил в деревню сундуки книг – в основном труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, теоретиков социализма. Наша семья их бережно хранила и только в годы войны, когда не было сухих дров, то на растопку печей и на сигарки самосада пошли и классические труды. Ни чью душу они не согрели, зато помогали держать в тепле голодные и тщедушные наши тела.

Прошел Григорий Степанович следственные изоляторы (они отняли у него два года до суда), тюрьмы, воркутинские лагеря, поселенческие поселки, которые быстро возникали в лесах и также быстро пустели, оставляя остовы бараков и могилы. В свой деревенский дом Григорий Степанович вернулся через 18 лет – после смерти Сталина. Вернулся уже с семьей, которой обзавелся на поселении.

Со временем я расскажу, возможно, о лагерных приключениях дяди Гриши, а сейчас упомяну о трех обвинениях, предъявлявшихся ему после ареста. Поскольку он был молод и красив, то, естественно, общался с архангельскими девушками. А жил он какое-то время в гостинице, под названием, если я не ошибаюсь, «Север». По словам дяди Гриши, к нему в номер время от времени заходила, пряча лицо в воротник богатой шубы, дочь одного из местных начальников. Вторую такую шубу имела дочь норвежского консула в Архангельске. И вот дяде Грише впаляли обвинение в связях с норвежской разведкой. Другое обвинение – троцкизм – предъявлялось ему потому, что он общался с признавшимися троцкистами. Третье – в защите кулаков. Последнее обвинение основывалось на том, что он, как один из молодежных организаторов лесосплава по притокам Северной Двины, слал в руководящие архангельские органы письма и телеграммы с просьбой улучшить обеспечение сплавщиков резиновыми сапогами, одеждой и питанием. Его обвиняли в пособничестве кулакам, потому что среди сплавщиков было много ребят из раскулаченных семей.

В детстве я еще застал сплав леса по нашей любимой реке Вели и помню, в каких тяжелых условиях работали сплавщики, «купаясь» в холодном паводке и разогреваясь одним кипятком у костра.

Жена дяди Гриши – тетя Нюра была из Коми АССР – с круглым всегда румяным лицом, раскосыми темно-коричневыми глазами. Григорий Степанович с юности до зрелого возраста сохранял почти детские мягкие русые волосы, тонкий с горбинкой нос. Их дети – Юра, Володя и Света – в юности были очень красивы. Старший Юра имел цыганское темноватое лицо с коричневыми горящими глазами. Сильный физически и бесшабашный по характеру он с подросткового возраста начал попадать в неприятные истории. Не дослужив армейский срок, оказался в тюрьме. Потом началась его беспутная жизнь. Также беспутно кончилась, и остался дедушке и бабушке его сын Вадик. Они усыновили мальчика, вырастили. Но и Вадик пошел по скользкому пути. Попадал в тюрьму за хулиганство, за кражи, за угон автомобилей. Как погиб, неизвестно. Дяде Грише и тете Ане только пришлось милицейское извещение о смерти.

Второй сын – Владимир сохранил черты отца со светлыми волосами, некоторой бледностью в лице и очень живой характер. Он до военного призыва попал в хулиганскую историю, провел два года в колонии, поднатерел в зековском жаргоне и со стороны казался завзятым хулиганом. После отсидки он в деревне почти не жил, уехал в городок Березники Кировской области. И там при каких-то странных обстоятельствах утонул, когда с компанией веселились и выпивали на берегу.

Светлана – натуральная блондинка с соломенными волосами, коричневыми красивыми глазами и тоненькой фигурой, кажется, унаследовала все лучшее из внешнего облика родителей. После десятилетки она уехала в Смоленск и вместе с подругами детства поступила в училище при алмазной фабрике, на которой и работала на обработке алмазов. Вышла замуж за спокойного и доброго Геннадия Ласточкина. У них два сына, уже давно обзаведшиеся семьями. Я один раз бывал у них, возвращаясь на машине в 1992 году из польской командировки.

Умер Григорий Степанович, отметив свое 80-летие. Тетя Нюра была значительно моложе его, но ушла из жизни несколько раньше.

Не могу не сказать в этом разделе о том, как долго и с какими надеждами Григорий Степанович ждал реабилитации. Он не просто ждал этого торжественного момента, возможно, надеясь, что его позовут к политической деятельности. Мне даже казалось, что он, прожив-

ший в лагерях и ссылочной глуши лучшие свои годы, немного заиклился на прошлом и готов был со старым организационным багажом снова включиться в общественную жизнь. По крайней мере, он меня настойчиво уговаривал воскресить комсомольскую жизнь в деревне, открыв избу-читальню, организуя политбеседы, субботники и прочее. Я заканчивал тогда среднюю школу, готовился поступать в университет и уклончиво отвечал, что до основания разрушенную деревню уже не воскресить трем-четырем комсомольцам, а изба-читальня при общедоступном радио и кино, уже получавшем развитие телевидении и разнообразной печати – анахронизм. Мои доводы на него не действовали.

Его отрезвил и помог избавиться от иллюзий ответ на многочисленные заявления о реабилитации. Только в 1963 году – через десять лет после освобождения – он получил эту бумажку по почте. Привожу полностью: РСФСР

Верховный суд

11/1.63 г. №965—ис. 2. Москва, К-289, п.л. Куйбышева, д. 3/7

Справка

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 24 октября 1962 г. приговор Северного областного суда от 29 марта 1937 г. в отношении Высотина Григория Степановича, 1908 г. рожд. отменен и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Гр-н Высотин Г. С. по настоящему делу реабилитирован.

Зам. Председателя Верховного Суда РСФСР

А. Орлов

Исковерканная судьба человека стоила такой вот казенной и холодной справочки. Будто Верховный Суд даже недоволен, что не найдено состава преступления. Это очень болезненно отразилось на Григории Степановиче, на его характере, на отношениях с людьми, в том числе с самыми близкими ему. Почему-то сыновья, подрастая, начали конфликтовать с отцом. Дело доходило до драки с Вадимом. Они жаловались на жадность отца, на то, что он не дает им денег. Григорий Степанович действительно неплохо зарабатывал на сборе сосновой живицы. Но разве это повод для молодых здоровых мужиков, способных зарабатывать себе на жизнь?

Дядя Гриша в молодости был авторитетен и в семье и среди тех, с кем работал. Он уговорил подросткового брата Андрея, уже впрягавшегося в крестьянский труд, пойти учиться на помощника машиниста и тот, став в последствии хорошим машинистом, гордился этим и любил щегольнуть: «В старые бы времена меня не машинистом называли, а механиком». У него и его семьи была обеспеченная жизнь. Нашей семье дядя Андрей охотно давал деньги взаймы. На его деньги я ездил в Ленинград сдавать вступительные экзамены в университет.

Потом они оба помогали брату Аркадию Степановичу в учебе.

Мама Вера Степановна Галкина, в девичестве Высотина

Мама, Вера Степановна, как старшая из детей, рано впряглась в работу и хозяйство. Читать и писать научилась в конце двадцатых годов при ликвидации неграмотности.

Все они до своей старости с большой любовью говорили о своей матери Ефросинье Гавриловне. Они ценили, что она не вышла второй раз замуж, чтобы не вводить в дом чужого для них человека. Хотя мужчины в доме, конечно, не хватало. В тех условиях это было самое достойное поведение, ценившееся в общественном мнении. Видимо, от матери взяли ее дети честолюбие, самостоятельность в задумках и поступках, а постоянный тяжелый труд был образом их жизни. Все сыновья задумывались над тем, чтобы не застрять навечно в деревне. И не застряли.



Галкина Вера Степановна

Тяжкий труд, бесконечные заботы о детях и переживания, по всей вероятности, сказались на здоровье Ефросиньи Гавриловны. По словам мамы, она постоянно жаловалась на головную боль. Доходило до потери сознания. По некоторым симптомам, у нее была гипертония и стенокардия. От них и умерла, не дожив до шестидесяти лет. Кое-что из своих болезней она, возможно, оставила по наследству: Мама умерла в 76 лет от третьего инфаркта, моя сестра Фаина скончалась в 58 лет от инсульта. У меня гипертония сказалась в 45 лет. Впрочем, любая смерть причину ищет.

Немного о лагерных похождениях дяди Гриши

Боюсь сейчас сказать точно об образовании моих дядей. Но когда я узнал, что великий маршал Жуков закончил только церковно-приходскую школу и двое шестимесячных кавалерийских курсов, то уже ничему не удивляюсь. Григорий Степанович выбился в комсомольские вожаки на местном уездном уровне, не требовавшем большой грамотности. Дальнейшее продвижение по иерархии зависело от способности к самообразованию. Курсы по лесному делу по настоящему емугодились только в лагерях где-то около Печоры. Лагеря были переполнены людьми с интеллигентным прошлым, а на севере нужно было на пустом месте строить бараки, то есть рубить и сплавливать к месту лес, распиливать и обтесывать бревна. Нормы выработки давались с учетом количества работавших, но не их физических возможностей и профессиональных навыков. Дядя Гриша рассказывал, что среди руководителей строительства предприятия были люди из эков. Один из них – бывший профессор Ленинградской лесотехнической академии – заметил его сметку и знание лесной работы, поставил бригадиром. Иногда бригада под присмотром двух-трех стрелков отправлялась на поиски строительного леса и мест его сплава. Дядя Гриша учил людей, как делать силки из конского хвоста для ловли птиц, крючки из застёжек солдатских шинелей для удочек. И скудный эковский рацион обогащался дичью и рыбой.

Не то, что о рефрижераторах, о холодильниках в те годы не слыхали, и летом на баржах из Архангельска иногда привозили живой скот на мясо для начальствующего состава. Дядя Гриша рассказывал, что он как-то предложил начальнику лагеря оставить несколько коров на зиму для молока. Инициатива не была наказуемой (наказуемым он уже был). В лесочке за пределами лагеря, чтобы спрятать от глаз проверяющих, срубили хлев, избушку для скотника, на зиму заготовили сено и семьи начальников были с молоком и сметаной. Там же хранили в бочках лесную ягоду. Скотником опять же был Григорий Степанович.

«Несколько раз, – рассказывал он, – прибежит в избушку посыльный от начальства, протягивает узелок с сухим пайком, пакет и путевку – срочно уходить в другой лагерь и вернуться через десять дней. Я уж знал: приехал очередной следователь из Архангельска со списком подследственных. Опять что-то шьют. Уходил от греха подальше».

Андрей Степанович и Аркадий Степанович Высотины

Второй дядя – Андрей Степанович выучился на машиниста паровоза. Сам себя он называл механиком. Считал, что это выше чем просто машинист. И действительно – паровоз – это не трактор и не автомобиль, на железной дороге надо многое знать, кроме устройства локомотива. До войны и в первые ее годы он работал на дороге Москва – Архангельск. Первые мои воспоминания о сладостях связаны с приездами дяди Андрея. Видимо, не часто я видел конфеты, если на всю жизнь запомнилась стеклянная банка с насыпанными в нее конфетами в красивых фантиках. Мама доставала банку из стеклянного шкафа и говорила: «Ну-ко, съедим еще по одной. Угощение дяди Андрея».

Во время войны дядю Андрея перевели на работу на Дальний Восток, на узловую станцию Могоча Читинской области. Оттуда изредка приходили от него письма. Там он женился на молодой женщине, переселенке из Украины тете Анне. У нее была дочка Женя и позднее родились еще две дочери – Галя и Зоя, а также сын Боря. В конце 40-х его семья переехала на узловую станцию Кулой Северной железной дороги – 75 километрах от поселка Солгинского. Тетя Анна – жена Дяди Андрея – пережила мужа, дочь Галю и сына Бориса. Сейчас Евгения Андреевна с мужем Владимиром живут в Пскове. Младшая из детей – Зоя закончила ленинградский железнодорожный институт, вышла замуж за однокурсника, они строили Байкало-Амурскую магистраль. Как-то Евгения и Зоя позвонили, сказали, что они под Москвой, где семья Зои обосновалась после БАМа. Муж Зои привез их к нам, но сам не вошел даже в квартиру. Мы посидели вечер за столом, я проводил их на метро и больше никаких контактов не было – телефон Зои я потерял. О Борисе я еще непременно напишу. К сожалению, – все в прошедшем времени, он умер в конце 80-х, не дожив до 40 лет.

Аркадий тоже получил образование на каких-то курсах и еще до армии был назначен директором молокозавода. Это только громко звучит. У него была работница, с которой он крутил сепаратор и ворочал фляги, а также столяр, сколачивавший ящики для масла и прочей продукции завода. Потом Аркадий руководил каким-то промышленным кооперативом в районном городе Вельске. Там жил в достатке, пока не забрали в армию. Принимал участие в финской компании. Сохранились фотокарточки, где он в шлеме, знакомом по гражданской войне. Не успел дослужить действительную, как началась Отечественная война, которая застала его где-то в присоединенной Прибалтике, в артиллерийском полку. Всю войну и два года после нее об Аркадии ничего не было слышно. Оказалось – попал в плен в первые же дни нападения фашистов. Рассказывал позднее, что как раз перед нападением разбирали и отправляли в мастерские пушки, часть ремонтировали и смазывали на месте. У артиллеристов не было на руках стрелкового оружия и защищаться от немцев им было нечем. Взяли их в плен, что называется, голыми руками. А после войны еще четыре года работал в Челябинской области, как заключенный – наказание за плен. Аркадий Степанович имел определенную организаторскую жилку и до шестидесятих лет работал мастером на лесозаводе. Рано умер, видимо, скакались на сердце годы плена. Его старший сын Вася, получив какое-то образование, переехал в Северодвинск, работал на заводе. Младший – Саша, кажется, остался в поселке Солгинском.

Капитон Рудаков и Арсанофий Капитонович Рудаков

Пройду пунктиром по судьбе родственников из папиного семейства. Никаких документальных источников нет. Церковные книги, в которых велись записи о крещении и отпевании, недоступны, если даже где-то сохранились. Опять сошлюсь на рассказы дяди Гриши, а он, в свою очередь, тоже что-то помнил по рассказам стариков, живших над его поколением. Почему-то дядя Гриша знал прапрадеда по папиной линии, но не знал своего прапрадеда. Возможно, это связано с тем, что старики по папиной линии жили, как правило, дольше и у них было больше шансов остаться в памяти.

Итак, прапрадед по папе – Капитон Рудаков. Он тоже оставил след в местной истории, прослыл чернокнижником. Такое и прозвище получил. Сельский мужик естественно был крещен, наверняка не был атеистом, но, вероятно, особо не чтил священников, как в свое время Лев Николаевич Толстой. Словом, религиозный вольнодумец. Перед смертью отказался от покаяния и причастия, а потому похоронен был за пределами освященного кладбища.

Местная молва утверждала, что он набрался ереси от чтения черной книги. Но после смерти прапрадеда никакой крамольной книги не нашли. Видимо, ее и не было. Возможно, он сам ссылался на некую книгу, как оправдание за вольнодумство. Никто бы все равно не поверил, что полуграмотный мужик в северном захолустье может собственной головой дойти до еретических умозаключений. Остается думать, был он человеком строптивым и не богобоязненным.

Его сына и моего прадеда Арсанофия Капитоновича Рудакова я немного помню. Мы с мамой ходили в соседнюю деревню Якушевку на летний праздник Петров день и я с некоторым страхом поглядывал на строгого совсем седого старика. Мне казалось, что он на всех сердит. Дом у него был добротный, большой – с высокой летней избой и подызбицей для зимы. А подызбица была не меньше большинства обычных деревенских домов. Тут следует пояснить, что подызбицы специально делались небольшими, приземистыми, с небольшими окнами, чтобы зимой были теплыми и не требовали много дров. В праздники в доме Арсанофия Капитоновича были вкусные угощения. За столом мне мама подмигивала, чтобы хорошо ел, не стеснялся. Но я все время оглядывался на сурового старика – он меня пугал и завораживал.

У него было несколько сыновей и две дочери, одной из которых была моя бабушка Александра Арсанофьевна. Она вышла замуж за деда Галкина Павла Марковича и тем самым мы получили фамилию Галкины. Фамилия мне нравится. Звучит, как Пушкины – совсем по-русски.

Бабушка Александра Арсановьевна Галкина (Рудакова)

Бабушка Александра Арсановьевна унаследовала от отца долгожительство, прожила 93 года. Когда я в свои 63 года поехал в невропатологический центр при Боткинской больнице провериться по поводу своих нервов и психологического дискомфорта, невропатолог, прищурившись, изучал меня и расспрашивал не столько о моих болезнях, сколько о болезнях отца, матери, дедушек и бабушек. В конце сказал: «Не забивайте себе голову страхами. Судя по всему, вы многое взяли у той бабушки, которая прожила больше 90 лет. У вас хорошая родословная. Вот и живите на здоровье».

Бабушка Александра Арсановьевна пережила мужа где-то лет на тридцать с лишним. Но так и не увидела в глаза паровоза, ни разу не бывала в поликлинике или больнице. Ходить ей было вообще трудно, она, полусогнутая, худая – кожа да кости, – все дни лета проводила в огороде, зимой пряла и вязала. Держала мелкую живность. С ней жили то дочь Авдотья с дочерьми, то сын Иван с семьей. Когда те получали квартиры в поселке, она оставалась одна в своем большом высоком доме, который нелегко было отапливать холодными зимами. Папа и его брат Иван, конечно, помогали, но бабушка до последних дней оставалась самодостаточной в своей неприхотливой жизни.

Полуслепая, без зубов, неграмотная, не бывавшая даже в молодости далее церкви, что находилась в деревне Усть-Подюга в 6 километрах, она сохраняла непонятную любознательность. Когда я после работы в газете и поступления в МГУ приехал на летние каникулы, мои однокашники ни разу не полюбопытствовали о характере моей профессии, о которой они, конечно, ничего не знали. Меня это даже немного задевало, хотелось все-таки похвастать мало знакомой специальностью. А вот бабушка обрадовалась моему приходу, спросила, о чем говорят в Москве про пенсии, потом поинтересовалась:

– Я слышала, Госенька, что ты газету пишешь, дак, все и ждала, шtbody чтобы рассказал, как ее пишут-то? Неужто каждую букву выводят? Ведь мелкие-то больно, да и написаны угловато. И ведь не одну, а несколько делают. Расскажи, кормилец.

Я ей рассказывал, она качала головой, дивясь человеческой изобретательности.

Неторопливость Александры Арсановьевны вошла в семейные предания. До колхозов все семьи чуть свет шли на сенокос каждая на свою пожню. Он появлялась к обеду с едой, увязанной в узелок. Правда, и вечером она могла косить до заката, удивлялась, как время летит.

Дед Павел Макарович Галкин

Муж Александры Арсановьевны и наш дедушка – Павел Маркович Галкин, был прямой противоположностью бабушке. Павел Маркович слыл завзятым лошадиником, любил быструю, бесшабашную езду. У него всегда стояло во дворе несколько лошадей и несколько коров. По классификации времен колхозного строительства их двор относился к середнякам. Для раскулачивания не было причин, все в семье были в рабочей поре, со стороны никого на работу не нанимали.

Особенно любил Павел Маркович извоз. До революции и в 20-е годы не существовало ответвления на Котлас от железной дороги, ведущей из Москвы на Архангельск. На северо-восток нужно было перебрасывать продовольственные и промышленные товары, обратно – пушнину и все, чем был северный край богат. Вот тогда Павел Маркович и запрягал по сильной и выносливой лошади в двое розвальней (сани с крепкими березовыми разводами по бокам, чтобы воз не заваливался на сторону) и отправлялся на пару месяцев, а то и на всю зиму в дорогу, которая начиналась в Коноше и заканчивалась в Котласе, а то и дальше.

Судя по всему, он хорошо зарабатывал на извозе, и лошади у него всегда были ухожены, упитаны, сбруя добротная. Только вот домой привозил немного и частенько возвращался с наживы (так называли тогда поездки на заработки) под большим хмелем и домашние удивлялись, как он в таком виде не замерз, нашел дорогу домой. А он, протрезвев, подсмеивался, мол, надо иметь таких лошадей, как у него, чтобы всегда, куда надо привезли. Никогда не жалел о потраченных деньгах, да и не хвастался, как погулял на воле.

Возможно, оставалось у северных людей, кроме типично русских еще и северные черты – безбоязненность глухих заснеженных дорог, авантюризм, чтобы бросаться в одиночку в небезопасный извоз, устраиваться на ночевки, где придется, не страшиться лихих людей в чужом краю. Те, кто только думал о больших заработках, о накоплении копейки к копейке, не шли на подобные риски и не сорили деньгами на разгул в незнакомой среде. В этом осталось что-то от новгородских ушкуйников, тех сорви-голов, которые не всегда были в ладах с общими порядками и частенько сбивались в ватаги, чтобы проникать все дальше на северо-восток, славившийся пушшиной, дичью, рыбой и глухими местами, где можно было жить по-своему, без надзора и указчиков.

У Александры Арсановьевны и Павла Марковича Галкиных было два сына – мой отец Александр и Иван, а также две дочери – Авдотья и Зинаида.

Дети Павла Макаровича и Александры Арсанофьевны

Папа был самым многодетным. У дяди Ивана и его жены – тети Шуры – двое – сын Анатолий и дочь Тамара, которые обзавелись благополучными семьями. Дети разъехались по дальним сторонам. Дядя Иван прошел отечественную войну, дослужился до лейтенанта. Был не раз ранен и контужен. Последствием контузии осталась глухота. Сам он говорил тихо, внимательно смотрел при этом на собеседника, видимо, пытаясь по губам определить слова собеседника, и часто кивал в знак того, что понимает. Но мы не раз убеждались, что понимал не все, и старались говорить громко на ухо. Чтобы побольше зарабатывать, дядя Иван, не имевший хорошей рабочей специальности, шел на работу, которая лучше оплачивалась. Сначала это был горячий цех – в котельной, потом цех по производству так называемой стекловаты – минерального утеплителя для деревянных блоков, из которых возводили невысокие дома. Он недолго пережил папу, умершего 24 марта 1979 года. Больше всех плакал не по-мужски у его гроба. Они всегда хорошо относились друг к другу, никогда не ссорились. Жена дяди Вани – тетя Шура верховодила им, частенько ругала, пользуясь несколько скрипучим громким голосом, а он всем видом показывал, что не слышит ее.

Авдотье повезло меньше – она одна воспитывала двух дочерей – Галю и Нину. Муж ее погиб на войне. Повзрослев, дочери уехали в какой-то целинный совхоз и пригласили туда мать. В дальнейшем должны были оказаться на территории Казахстана. Об их дальнейшей судьбе не известно.

Зина еще до войны вышла замуж за парня из соседней деревни Плоское. Детей у них не было. Хорошего житья тоже. Степан по болезни не служил в армии. Он любил похвастать своей родней, особенно братом, который в его глазах был большим руководителем – председателем сельсовета.

Глава II: Наше родовое гнездо

Племянник Виктор Борисович Галкин

В поселке Солгинском, Вельского района, Архангельской области наше родовое гнездо, хотя родились мы, как наши дедушки и бабушки в двух километрах от поселка в деревне Филимоновской (старое название – Чистое Туймино). В деревне сейчас осталась только племянница Рита с семейством. А в поселке – Борис с женой Ниной, а также племянница Ольга Борисовна и племянник Александр Борисович. Сергей, Ольга, Рита и Саша – дети нашей сестры Фаины и ее мужа Бориса Викентьевича Келарева. Старший Сергей Борисович давно живет в городке Подпорожье под Питером.

Поселок Солгинский получил жизнь благодаря построенному сразу после войны деревообрабатывающему комбинату, а название идет от ближайшей станции Солги на железной дороге Коноша – Воркута.

О жизни семьи, в которой росли мы – Валентин, Борис, Фаина и я, надеюсь рассказать подробнее позднее, а пока перечислю ту родню, которая пошла уже от нас.

Старший сын Бориса и Нины – Виктор родился в 1961 году. Сейчас его семейство живет в Белоруссии (Гомельская область Жлобинского района, деревня Кирово, ул. Кировская, д. 6). У них с женой Галей три дочери. В 2005 году у них родилась первая внучка Виктория, которую я держал на руках в четырехмесячном возрасте. Виктор, Галя и дочь Таня с малюткой Викой ехали через Москву к бабушке и дедушке.



Галкин Виктор Борисович с супругой

Виктор и Галя с детишками переехали в отстроенную белорусскую деревню Кирово после чернобыльской катастрофы 1987 г. Советское правительство тогда заглаживало свою

вину за катастрофу, возводя в задетых радиационным облаком местах комфортабельные коттеджи. Северяне, люди вообще не прихотливые и мало заботящиеся о себе, поехали в опасные места, особо не заботясь о будущем. Виктор проявил организаторскую жилку и какое-то время руководил бригадой механизаторов в колхозе. У него был обнаружен рак. После операции он чувствует себя неплохо, приезжал в Москву, работал на стройке, потом с той же целью ездил в Чехию.

Игорь Борисович Галкин

Второй сын Бориса и Нины – Игорь, родившийся в 1964 году, вымахал в симпатичного русокудрого парня. Наша мама, его бабушка, старалась разглядеть в большеглазом кудрявом малыше черты некой особенности и очень опекала его. Службу он проходил в военно-морском флоте. После армии женился и какое-то время тоже жил в Белоруссии, а потом всей семьей перебрался на север, в дальний городок Лешуконь Архангельской области. Рассказывают, туда в летнее время можно попасть только на самолете. Зимой – по зимнику. Там он стал милиционером и в составе спецподразделений несколько раз выезжал в Чечню. Отца и мать это беспокоило, а он подгонял срок выхода на пенсию – каждый месяц в условиях военных действий считаются за три. К счастью все обошлось. О его семье я знаю только то, что старший сын Евгений после милицейской школы приехал на родину отца в поселок Солгинский и работает участковым милиционером.

Дети Фаины Борисовны Галкиной

У нашей сестры Фаины и ее мужа Бориса Викентьевича Келарева четверо детей. Старший – Сергей как первый внук, получил больше других внимания и ласки от двух бабушек и дедушки Александра Павловича. Второй дедушка – Викентий, отец Бориса, умер во время войны. Бабушка Евдокия вынянчила всех детей Фаины, пока они были маленькими.

Сергей Борисович сейчас живет и работает в городе Подпорожье Ленинградской области. У них взрослые сын, уже женатый, и дочь студентка. Сергей оказался практичным и деловым человеком. Имея городскую квартиру, собственными руками в одиночку построил не просто дачу, а добротный деревянный дом на берегу озера и свободное время проводит на охоте и рыбалке. Помогает сыну и дочери.

Рита – единственная из молодого поколения остается жить в деревне Филимоновской, где жизнь теплится только в пяти или шести домах. Старики утверждали, что до Отечественной войны деревня насчитывала до тридцати дворов и в каждом многочисленная семья. И почти каждая семья отдала фронту по солдату. Вернулось не более десяти и все израненные, включая нашего папу.

Рита в свое время закончила экономический вуз и до развала советской системы перед ней не стояло вопроса о работе. Была совхозным экономистом, потом бухгалтером у местного предпринимателя. Пыталась и сама заняться предпринимательством, но в нищем поселке напрасно создавать магазин или кафе. Теперь заведует в поселке детским садом.

Муж Риты – Сергей имеет несколько рабочих профессий. По последним сведениям, ездит куда-то из дома на работу вахтовым методом. У них две взрослые дочери Юля, Яна и Сережа. Оля и Яна закончили колледжи в Ярославле – одна по химическим технологиям, другая по юриспруденции, но в городе найти работу нелегко, тем более такую, чтобы хватало денег на жизнь и оплату снимаемого жилья. Юля уехала в Питер. О Яне в 2010 г. мне не было ничего известно. У Сережи будут проблемы после окончания десятилетки.

Другая дочь Фаины – Оля с семьей живет в поселке. У них с мужем двое дочерей Нина и Таня. У первой своя семья и ребенок. Младшая – Нина закончила техникум и вместе с двоюродной сестрой Юлей уехала в Питер.

Другой сын Фаины – Саша живет и работает тоже в поселке Солгинском. У него не обошлось без развода, но он всегда проявлял порядочность. Он, кажется, нашел себя в наше нелегкое время. Сумел купить трактор, уазик и кое-какие сельхозорудия. Имеет свое хозяйство, оказывает услуги по обработке земли.

Дочь Валентина Александровича Галкина Лена

У брата Валентина одна дочь – Лена. Еще будучи школьницей она осталась с отцом, когда он развелся с женой Зинаидой. Лена вышла замуж за Николая, который жил в городке Вельске и работал на птицефабрике. У них – сын Саша и дочь Светлана.

Саша в свое время служил в армии в городе Твери. Мне сообщили адрес воинской части Саши и мой сын Вадим нашел его, принимал в гости если солдату давали увольнительную. Дочь Лены Светлана как-то приезжала в Москву, но заранее не позвонила, а я был в этот вечер занят на обязательном для моей работы мероприятии в Дипломатической академии. Она вышла замуж, еще через некоторое время, родила ребенка.

У Лены, судя по всему, есть немалые проблемы.

О поселке Солгинском

Поселок Солгинский остался на вымирание, отдав перед этим 50 лет рубке и обработке леса.

Сосновый брус на строительство деревянных домов, потом деревянные плиты с утеплителем эшелонами отправлялись во все концы страны. Они давали приют людям восстанавливавшим промышленность, города и поселки, разрушенные войной. Их восстановили, а сами жители Солгинского до сих пор живут в рассыпающихся опилками домиках и даже бараках.

Конец градообразующего поселка никого не волнует. На месте вырубленных сосновых лесов сейчас только ольха, осина, кустарники. Настоящего строительного леса уже никогда не будет. В умирающем поселке у людей ни работы, ни денег.

Как символ умирания сгорел в 2006 году первое двухэтажное здание поселка – средняя школа из соснового бруса. Я заканчивал эту школу в 1957 году, когда в переполненных классах учились в две смены, а вечером еще и взрослые в школе рабочей молодежи. На занятия в построенную рядом кирпичную школу съезжаются ученики из деревень и поселков за 30 километров, а классы полупустые – население убывает.

Контрасты времени и конек Карько

Как подумаю – невероятный отрезок времени довелось нам прожить: от лучины военных лет до карманного мобильного телефона, от телеги на деревянном ходу (колеса ставились на деревянную ось, смазанную дегтем) – до космического корабля, от примитивного кино до телевизионных передач из любой точки земли.

В первые годы после войны я помню частые разговоры папы с мамой о том, когда лучше жилось: единолично или с установлением колхозов.

Папа защищал частное хозяйство, когда семья сама решала, что ей делать, сколько коров и лошадей держать. Ему очень жалко было вести в общие только что построенные дворы своих коров и лошадей. Ему нестерпимо было видеть, как нерадивые даже в своих собственных хозяйствах мужики плохо кормят и изводят в работе его лошадей. Особенно любил живого и выносливого конька Карька. Этот Карько спас ему жизнь, когда в праздничной драке пьяный мужик всадил ему в живот нож. До ближайшей больницы – более 50 километров по кривой зимней дороге, а на дворе – лютый мороз. Вот тогда Карько, запряженный в легкие санки, и промахал с полуночи до рассвета эти полсотни километров по скрипучему снегу. Успели сделать операцию.

У мамы тоже была хорошая история с этим Карькой. В январе 1930 года папа привез ее за 15 вест в больницу села Хмельники рожать.

– Рожать так не боялась, как мороза, – рассказывала мама. – Больно холодны были тогда зимы. А Валя мой родился слабенький. Я и на руках-то его еще боялась держать, а тут дорога по ухабам, да на морозе – вдруг что случится – вылетим из саней. Отец приехал, конечно, на Карьке, с тулупом. Закутал нас, не велел высовываться. Только и помню, как бросает нас из стороны в сторону, да вверх – вниз. Прижимаю Валу. Ничего не слышу – только хруст от копыт. Притормозил отец, заглядывает под тулуп: «Как вы там?» «Ничего, говорю, только придерживай немного коня-то, больно трясет». А он подсмеивается: «Чего придерживать-то, мы уж у крыльца».

Еще о деде Павле Макаровиче Галкине

Я уже упоминал, что дед по папе Павел Маркович был своенравным мужиком. В колхоз вступил только в числе последних, когда власти совсем задавили единоличников налогами и всевозможными повинностями. Вот только один пример. Каждую осень все дворы обходила сельсоветская комиссия, обсчитывала всю живность. От их количества начислялась доля мяса, подлежащая сдаче государству в виде налога. Сдавать требовалось живьем и отводить за пятьдесят километров на мясокомбинат. Даже с того скота, который семья резала на свое пропитание, шкуру животного она тоже должна была сдавать государству. Потом этот порядок обложения перешел и на колхозников. Поскольку все это делалось руками местной власти, как и раскулачивание, то никакой любви к себе у местного населения к ней не было.

По словам мамы, Павел Маркович был убежден, что в колхоз шли только лентяи. Не способные работать даже на себя, не будут же они на общество ломаться. Мама как невестка Павла Марковича, хорошо отзывалась о свекре. Ей нравился его самостоятельный характер и критичный взгляд на то, что происходило в жизни.

«Колхозники-то все вместе. На сенокосе или гребле у них там шумно, весело и я потихоньку убегу со своей пожни, поглядываю за ними из-за кустов, – рассказывала мама. – Мне тоже хотелось к ним. Говорю свекру-то, давайте и мы к колхозу приедемся. А он: „Ой, девка, скоро они нарадуются со своим колхозом, как начнут из амбаров выгребать, да скот на мясозаготовку угонять. Кто в колхоз-то прибежал? Голодранцы. Под них и будут всех ровнять“. Хороший был Павел Маркович, царство ему небесное».

У мамы были свои резоны насчет колхоза. Ей казалось, что там жизнь будет полегче и повеселее. Все же на миру и работа, и отдых. Стали обучать грамоте, устраивать кое-какие праздники поза церковью, хотя она была человеком верующим. В нашей семье все были крещены – и Валентин, и Борис, и Фаина – кроме меня. В 37 году, когда я родился, в округе уже не было ни одного священника. Папе и маме советовал идти в колхоз и домашний комсомольский активист дядя Гриша. Он искренне верил в преимущества обобществленного труда. Вступил в колхоз и мамин брат Андрей. Правда, все смотрел на сторону и при случае уехал учиться на машиниста паровоза.

Уход папы и мамы в колхоз ускорил отделение их от Павла Марковича и Александры Арсанофьевны.

Отец Александр Павлович Галкин

Папа хоть и не любил колхоз, но как и у маминых братьев у него тоже появилось желание использовать вновь открывающиеся возможности. Он решил пойти на курсы трактористов в машинно-тракторную станцию (МТС), которая была создана в поселке Хозьино в двадцати километрах от нашей деревни. Такой профессии в нашей деревне еще не было. Оставалась загвоздка с образованием. Папа лишь немного походил в церковно-приходскую школу, научился читать, писать и немного арифметике, чтобы подсчитывать сотки и гектары. К технике тянулся. Мама не отговаривала его от учебы, хотя и нелегко было с младенцами на руках. Помогала бабушка. Подавая заявление на курсы трактористов, папа написал, что за плечами два класса. Потом не раз рассказывал, как тяжело доставалась ему техническая наука. С сумкой провизии на неделю добирался он на учебу сначала пешком, потом купил старенький велосипед. Зимой ходил на лыжах. А весной приехал на своем гусеничном тракторе. Не на колесном, которые уже появлялись в округе, а на гусеничном. И это было предметом нашей особой гордости.

Зимой 1929 года папа и мама поженились и к весне вступили в колхоз. Папа начал работать на тракторе в 1932 году.

Первые мои воспоминания о детстве как раз и связаны с папиным трактором. Что бы ни говорили, а это был символ сельского прогресса. Само его тарыхтение оглушало застывшую полусонную жизнь деревни. Стоило услышать резкий машинный треск, как ребятишки со всей деревни бежали на него. Мы с робостью подходили к трактору, чтобы потрогать его, почувствовать вибрирующую силу рокочущего мотора.

Папа обычно, останавливался, завидев меня, подхватывал на руки и ставил рядом с собой в кабинке. Как это здорово чувствовать себя выше всех, ощущать всем телом тракторную дрожь. Даже деревня казалась другой из окошка кабины.

Помню, почему-то, как я злился на своих сверстников, которые осмеивались вскакивать на сцепную рейку под кабиной трактора, чтобы прокатиться. Папа грозил им, кричал, чтобы не цеплялись за машину, а они нагло не слушались. Я тоже на них кричал и, наверно, был похож при этом на мокрого воробья, который топорщится и чирикает на своих собратьев. Ребята, естественно, должны были не любить меня за то, что задаюсь. Но почему-то мне не хочется даже сейчас осуждать себя за это. У меня был естественный повод гордиться папой. А это рождает чувство собственного достоинства. В это мне хочется верить. Подспудно я верил, что и мои дети будут впитывать уважение ко мне, не важно, как оно выражается. Боюсь, что не все так просто.

Рассказ мамы Веры Степановны о папе

Очень жалею, что у меня не было своего компактного диктофона, чтобы записать папины рассказы о войне. Уже после его смерти, осенью 1979 года у меня появилась возможность приехать на три дня на ноябрьские праздники с небольшим радиомаягнитофоном «Грюндиг». Пока никого в доме кроме нас с мамой не было, я поставил на кухонном столе аппарат и во время завтрака со стопкой водки и горячими шанежками включил его. Мама все же заметила, что в магнитофоне что-то крутится, заподозрила запись, хотя с такой техникой никогда не имела дела, и стала отказываться от разговора. Я успокаивал ее. Постепенно она разговорилась, но то и дело поглядывала на аппарат. Я попросил рассказать, какой папа был в молодости. Маму начали захлестывать эмоции, она на некоторое время забыла о магнитофоне. В ее рассказе она называла папу «отцом».

– Весной-то, как сплав проходил, под Горкой большущий залом накопился у моста. Того и гляди, снесет его. Потом мост, и правда, снесло. Но той весной мужики его отстояли. Колхозников-то и мобилизовали растаскивать залом. Считали это как привилегия для колхозников. Да посылали тех, кто половчее, да посноровистей. Отправились туда отец-то наш и брат мой – Андрей. А мы, женщины-то, еды на обед наготовили и туда же, мужиков кормить. Спускаемся с горы-то к реке, а перед нами такой заломище! Бревна-то столбами кось-накось стоят. Вода меж бревнами хлещет, страшно. Стараются вырывать из залама и оттаскивать те бревна, которые заклинивают проход под мостом-то. Вот мужики-то и прыгают с бревна на бревно, несколько комлей вытащат, а другие из кучи-то сами рассыпаются и плывут по воде. Кто половчей из сплавщиков-то, тот устоит на таком бревне, плывет на нем к берегу, а другие – бултых в воду, выкарабкиваются на бревна все мокрые. Ну-ко, провались меж такими кряжами в воду – унесет под завал, вода-то сумасшедшая, буровится. Страшно! А отец-то, только багор мелькает, с бревна на бревно прыгает, на одном плывет, другие отпихивает. Смотришь, только плыл на бревне-то, а уж он на заломной куче вместе с мужиками. Тоже мокрый до нитки. Вот думаю, и не пожила с муженьком, погибнет сейчас, унесет его шальная вода. Бог миловал. Ведь разобрали залом, по бревнышку вывели лес под быками. Не дали разворотить мост.

Заговорились и я не спросил у мамы, в чем заключалась привилегия колхозников на спасении моста. Заплатили ли мужикам за ударный и опасный труд, тоже не упомянула. Может, просто мама не то слово использовала для описания такого важного для села события.

О ловкости папы Александра Павловича

А о ловкости папы я и сам мог убедиться уже после войны, когда он ходил, прихрамывая на кривую левую ногу, но преображался на реке. Шел сплав и папа меня подзуживал:

– Ты можешь на одном бревне плавать?

– Не.

– А чего не научился?

– Боюсь утонуть.

– А ты научись, и не утонешь.

– А как научиться?

– Вот смотри, плывут бревна или на берегу лежат. Ты выбирай не толстое – его трудно удержать, чтобы не крутилось. И не тонкое, чтобы выдержало. Выбирай среднее. Ноги ставишь так, будто ты бревно ступнями обхватываешь. При этом одна нога должна стоять немного впереди, другая – сзади – для устойчивости. Понял? А теперь смотри.

Папа прицеливается к плывущему кряжу, резко втыкает в дно багор и перемахивает на нем на бревно, которое под его тяжестью немного погружается, раскачивается. Два-три балансирующих движения папы и бревно успокаивается. Я иду вровень с ним по мокрому берегу, подначиваю:

– А ты рассказывал, что можешь сидеть и лежать на бревне.

– Не хочется штаны мочить – бревно мокрое.

– Наверно, плавать разучился.

Смотрю: папа садится на бревно и победно смеется. В два толчка багром он прибавляет бревно к берегу, перепрыгивает на берег. В появившемся азарте я прошу у папы багор, чтобы попробовать свои силы. Он качает головой – багор для меня тяжеловат. Советует подождать лета, когда вода будет потеплее, а речка помельче. Забота о нашем здоровье и безопасности у него всегда была на первом месте. Скажу только, что я первым среди ровесников научился переплывать речку на одном бревне. Мне было тогда лет тринадцать. Борис был, конечно, ловчее, сильнее и отчаяннее меня в этом возрасте.

Валентин силой и ловкостью не отличался. У него я перенимал навыки рыбной ловли, различать полезные и поганые грибы, запоминать места, где они растут. Фаина меня методично учила, как собирать землянику, чернику, бруснику, чтобы не мять их и не засорять листочками.

Глава III: Война

Ужасное черное слово. Мне было 4 года, когда началась война. Из самых ранних картин мне приходит на память, иногда навязчиво, как самый первый образ чего-то мрачного, трагического, безнадежного. Лето на севере короткое, мокрое, холодное, незаметно переходящее в еще более холодную и унылую осень. А тут и вовсе выпал снег так рано, что мы не успели выкопать картошку на своей полосе. И мы всей семьей, кроме мамы, занятой на скотном колхозном дворе, бродим по неглубокому, но противному мокрому снегу, перемешанному с землей, копаем картошку, запасаемся на долгую холодную зиму. Все семьи на своих полосках заняты тем же. Первый неестественно белый снег вперемешку с черными комьями земли – два противоположных цвета – это и не поле, и не снег, а какая-то мертвечина. По этому странному пространству серыми теньями уныло бродят, копаются невеселые люди. Когда кто-то новый появляется в поле, ему кричат: не слышно ли чего нового о войне? Это слово «война» тоже, видимо, звучало для меня тогда новинкой, если задело мое воображение. Потом и оно станет привычным.

Не врезались почему-то в память четырехлетнего мальчишки проводы мужиков и парней в армию под истерику и вопли женщин. Деревня дала три или четыре десятка солдат для пекла первых боев. Но помню, как уже во второй половине войны вся деревня сбегалась к дому, в который пришла похоронка. Женщины бегали, не зная, как помочь тем, кого настигла беда. Каждая похоронка вгоняла деревню в оцепенение. Кто следующий получит страшную бумажку?

Наш отец, как и большинство трактористов области, в первые два года оставался на брони. Хлеб, картошка и даже сено нужны были армии, и трактористы здесь нужны были не меньше, чем в армии. Во второй год, когда Украина, Кубань и многие центральные области были заняты немцами, выращивание хлеба стало основной задачей не только южной Сибири, Поволжья, Казахстана, но и европейского Севера. Эти два года наша семья еще не испытывала лишений, как позднее. Папе платили зерном и мы не так голодали. Даже на зиму 1943 года у нас с едой было лучше, чем в других семьях. Трактористам и раньше в деревнях завидовали, а в первые годы войны тем более. У нас в доме оказалось несколько мешков гороха – часть папиного заработка. Горох в тот год хорошо уродился. А поскольку он шел по другим ведомостям государственных расходов, то им и оплачивали труд местных трактористов. Государству требовалось в первую очередь сдать рожь, ячмень, овес. Мы высушили на печи горох и ссыпали в мешки. К нам чаще стали забегать друзья Валентина и Бориса, мои сверстники, чтобы поесть горошку, твердого, как камень.

Во вторую военную зиму папу направляли в Архангельск на разгрузку английских и американских судов, привозивших военную технику.

Проводы папы Александра Павловича на войну

В зиму с 1942 на 1943 год папе велели готовить замену из числа женщин. Мужчин уже не осталось. Кто годился в армию, того забирали с 17 лет. Кто не мог служить в строевых частях, тех оставляли на трудовую повинность в основном на лесозаготовках. Эти, с повинностью, уходили из жизни быстро – непосильный труд на лесоповале, плохая кормежка и болезни делали свое черное дело.

Папа взял прицепщицей местную бойкую женщину Александру и учил ее устройству трактора, уходу за ним, регулировке, вождению на пахоте. Папе сказали: поднимешь зябь на последнем поле – и выезжай в военкомат.

Я помню этот сентябрьский день 1943 года. Последним полем папы было Заречное, то, которое от деревни отделяла наша река Вель. Оно прекрасно просматривалось из окон нашего дома. Мы наблюдали, как папин трактор, начав от леса, с дальнего от нас края, проходит справа налево и обратно, увеличивает черную полосу пахоты и сокращает желтую целинную часть поля, упирающуюся в берег реки. Прогон за прогоном папа приближался к нам. Равномерный рокот трактора все слышнее. Это приближение нас не радовало. Оно сокращало время нашего общения с папой. Валя с Борей столкнули с берега лодку, взяли меня с собой, и мы поплыли через реку к папе. Уже вчетвером вернулись домой.

Потом мы мылись в бане. Папа очень любил мыть нас, когда мы были маленькими, иногда перебарщивал с жаром и мы старались вырваться из его рук. Благо баня стояла на берегу и летом мы выскакивали, чтобы охладиться в реке. Зимой Боря иногда выскакивал и бросался в снег. Я этого боялся. Не думаю, что на этот раз мы особо вырывались от папы. Погода стояла уже холодная, но без снега. Дома я прилег на печь, ожидая общего ужина за самоваром. И заснул. А проснулся только утром. Страшно обиделся, что меня вечером не разбудили. Поздно вечером папа и мама на дрогах уехали в МТС, где собрались все трактористы, оставшиеся на брони.

Жизнь во время войны

Для нас настало наиболее трудное время. Зерна, полученного папой, хватило на первую зиму и то не на всю. Оно пошло не только на еду, но и на обмен за обувь, одежду. Валя, Боря и Фаня быстро вырастали из старой одежды и обуви. Кое-что из незаношенного доставалось мне. Холодными зимами я с нетерпением ждал братьев из школы, чтобы надеть их валенки и фуфайку на часок. Фане тоже нужно было свое, девчачье. У колхозников не было денег, а в сельпо не продавалось никакой одежды, ни обуви. Шел натуральный обмен. Вещи носили по деревням далеко не от хорошей жизни эвакуированные из Ленинграда и других городов. В деревне их по привычке называли переселенцами, которых за десять лет до того привозили на север после раскулачивания. Эвакуированным давали в сельпо небольшие пайки. Деревенские завидовали им – все-таки гарантированный хлеб. А те считали счастливыми деревенских жителей, что они жили в собственных домах, имели огороды и кое-какой скот.

Со времени коллективизации каждая деревня – была колхозом. Сомневаюсь, чтобы в Архангельской области хотя бы один колхоз в те годы оказался зажиточным. Если в чем-то и была между ними разница, то война всех подравняла. Каждая работа в колхозе нормировалась в трудоднях. Чтобы заработать один трудодень, требовалось вспахать, пророборонить, сжать определенное число соток (одна сотка = 10 м на 10м). На жатве на один трудодень нужно было сжать серпом или навязать за косилкой нужное число снопов. Любая работа оценивалась в трудоднях. Кузнец чинил колеса для телег и плуги за трудодни, за эти же палочки плотники ладили дровни, старики топили овины и сушили зерно, подростки работали на лошадях по вывозке навоза, на бороньбе полей.

Все в один голос жаловались, как много надо вложить сил на каждой такой работе, чтобы заработать один трудодень. Кто занимался нормированием, я не знаю до сих пор. Едва ли такое право предоставляли самим колхозам. Впрочем, у тогдашнего трудодня, как у нынешнего рубля, есть одно и то же свойство – способность к обесцениванию, девальвации. Все зависит от соотношения всего количества трудодней, выработанных всем колхозом, с общим объемом оставшегося для распределения зерна. А его все военные, да и первые послевоенные годы катастрофически не хватало.

Валя и Боря во всю зарабатывали трудодни: на лошадях боронили пашню, возили навоз на поля, снопы с полей, траву на силос, осенью погоняли лошадей на молотилке, зимой возили сено из копен на скотный двор, крутили веялки. Хорошей работой считалась переборка картошки, овощей – можно было что-то перехватить на еду. Осенью колхоз рассчитывался прежде всего с государством. Его налоги и всевозможные обложения заставляли вывозить на государственные пункты львиную долю ржи, пшеницы, ячменя, овса, а также льноволокна, сена, картофеля, капусты, моркови, красной свеклы. Осенью же начинались пропагандистские кампании добровольного патриотического самообложения в пользу Красной Армии. Потом засыпалось зерно на семена, в страховой фонд. Только после этого оставшееся зерно делили на все количество заработанных колхозниками трудодней. И получалось по полтора-два, а то и полкилограмма зерна на один трудодень. Вот и весь расчет. Таково было жалованье колхозника.

Думаю, что власти в этой разблюдовке исходили прежде всего из того, чтобы оставить колхозникам только то, чтобы не было массового мора. И не из человеколюбия, а из расчета, чтобы и в предстоящие год-два люди могли выжить и худо-бедно обрабатывать поля, восполнять поголовье скота.

Голод

Ловлю себя на том, что не смогу в один присест описать даже частично то, что пережили мы во время войны и в первые годы после нее. Тяжело писать о таком. Как от физической усталости хочется периодически отдохнуть, так и от неприятных воспоминаний мозг сам по себе требует эмоционального отвлечения.

В своем жизнеописании мне хотелось бы ограничиться только значимыми вехами, понимая всю относительность маленьких забот и побед перед годами уже прожитой жизни. Но что-то подсказывает, что пока есть возможность, не стоит переходить на вьевшийся в мою многолетнюю практику телеграфный стиль. Жизнь состоит из мелочей. О них нельзя забывать, они создают атмосферу и конкретность того, что хочется сказать будущим моим читателям.

Та полоса моего детства, которая пришлась на войну, у меня прочно слилась с чувством голода. С постоянными мыслями о еде. О ней мы думали всегда. Еда была соломинкой, за которую цеплялась наша хрупкая ненадежная жизнь. Не поешь ты завтра, послезавтра и жизнь оборвется, как обрывалась жизнь знакомых нам людей, которые испытывали еще большую нужду, чем мы. Это сытые и благополучные сценаристы и режиссеры придумали чисто киношный ход для изображения голода. Их герои грезят в голодный момент о неких особых яствах. Мы думали о другом.. Когда на второй, третий, четвертый день ждешь чего-нибудь, чтобы успокоить желудок, не упасть в обморок, то вспоминаешь не о яствах, а о последней ржаной шаньге, о почти сладком турнепсе, который удалось стянуть на овощехранилище, о летнем щавеле, который рос прямо под ногами, правда, летом, а не нынешней белой как саван зимой, покрывшей снегом все жившее, зеленевшее.

Самый большой голод приходил к концу зимы, когда запасы кончались, а до лета казалась целая вечность. Старики любили говорить: дожить бы до лета, а там трава прокормит. Вообще-то трава кормила скот, а он давал нам жизнь. Слава богу, у нас была Манька, корова-кормилица, не давшая умереть ни одному из нашей семьи. Выглядела она неласково: костистая, черная с белым пятном на шее, с небольшими острыми рогами и тяжелым взглядом. Летом моей обязанностью было пригонять Маньку домой с окраины деревни, куда пастух пригонял стадо вечером. Почему коровы сами не шли в собственные дворы и до ночи могли поглощать траву, до сих пор понять не могу. У нас на углу двора всегда стояла длинная вица (прут без сучьев и листьев) и я с ней шел за Манькой. Вица помогала мне держать приличную дистанцию от ее острых рогов. Кстати, Манька никогда и никого не боднула, и почему у меня был страх перед ее рогами, непонятно. Тем более, что все мы ее боготворили, относились с благоговением. Не боюсь употребить это слово из церковного высокого слога. Сейчас слово «харизма» применяют к месту и не к месту. Я бы оставил его только для нашей Маньки. Большого благоговения в нашей семье не было ни к кому, кроме Маньки. Она кормила нас еще два или три года после войны, а однажды пришла с поскотины с распоротым боком. От рога другой коровы, от острого сука или от чего-то другого погибла Манька.

Она своим прекрасным жирным молоком спасла нам жизнь. На севере молоко заменяет и витамины, и минеральные элементы, и все остальное, что необходимо человеку, обделенному природой. Самым суровым временем для нас было полтора-два месяца зимой, когда корова переставала давать молоко до своего нового отела. Мы начинали болеть. Не случайно, видимо, всякие уколы и прививки в деревне делали в основном зимой, когда эпидемии совпадали с перебоями в молоке. Без коровы оставались те семьи, в которых не было взрослых ребят или стариков и некому был заготовить сена на зиму.

В деревне была примета: если у семьи нет коровы, покойника не миновать. В этих семьях чаще умирали дети и старики.

Шаньги

Запал мне в памяти один день военной поры. Мама, Фаня и я сидим у окна и до рези в глазах вглядываемся в окно. И основное, и вставленное на зиму окна уже оттаяли от изморози и мы можем просматривать всю нашу речку, покрытую льдом и ровным снегом, до ее поворота. А там, у поворота, крутой противоположный берег, переходящий в сосновый лес. Из этого леса и должны выкататься санки, на которых Валя и Боря привезут с мельницы мешок муки. Река вот-вот вскроется, уже чернеют на перекатах черные полыньи, лесная дорога со дня на день потонет в воде и тогда мельница две-три недели будет недоступна. А колхоз только что выдал по немного зерна. Все съехались на мельницу, которая в нескольких километрах стояла на лесной крутой речке. Скопилась очередь. Ребята еще вчера должны быть дома с мукой, а мы все не можем их дождаться. Мама налила в блюдо молока, приставила к блюду ложки. Вот приедут ребята, мы насыплем в молоко муку и лучшей еды не придумаешь. Кстати, испокон и до конца войны в наших деревнях никогда не пили молоко кружками. Его хлебали ложкой, понемногу.

Но их все нет. Иногда приезжают с мельницы другие деревенские. Кричим им через окно, где наши? Они отвечают: ждут на мельнице своей очереди. И торопятся к своим, которые тоже ждут долгожданную муку.

Наконец, скатываются к реке Валя и Боря. Тут мы замираем: не провалились бы под лед: одна полынья уже близка к переезду. Кончились страхи и у нас пир – едим молоко с мукой. Это блюдо называлось тогда дежной.

На всю жизнь запомнились ржаные шаньги. Хлеб караваями пекли очень редко. На них шло много муки, а ее весной и летом каждой семье выдавали по сто-двести граммов на едока в день. Мама с вечера заводила тесто, рано утром пекла на сковородке тоненькие шаньги, смазывала их маслом и делила на каждого. Не помню теперь, как проходила эта дележка. Наверно учитывалась работа братьев и то, что им требовалось больше еды. Я знал только, что просыпаясь позже других, я найду у подушки на полотенце свои несколько шанежек. Был соблазн съесть их сразу, но я знал, что тогда до вечера придется терпеть без еды. Обычно растягивали поглощение своих порций. Чего я точно не помню, так это ссор из-за еды. Ни единого случая не запало в памяти, чтобы я был обижен несправедливостью по поводу еды или дележки ее. Не помню ни единого слова обиды и ни от братьев, ни от сестры, ни в каком их возрасте по поводу какой-то возможной несправедливости. Или этой несправедливости не было, или она случалась, но позднее уже не казалась существенной.

Ягоды и грибы севера

Север страшен своей природной скудостью. Весной природа вообще ничего не дает для прокорма. Летом появляются ягоды. Но земляника и черника – не продукты, а лакомства. Если нет хлеба, ими не наешься. Да и не много наберешь земляники. За черникой Фаня брала меня на болота. Там ее много. Дня два можно питаться нашей семье ведром черной ягоды, принесенной с болота. Мы ее ели с молоком, тушили в печи для пирогов. Тонкий ржаной сочень подгибается с краев в виде рифленой сковородки и заполняется толченой картошкой, поливается сверху тонким слоем размякшей в печи черники. Пытались сушить чернику также на зиму, но для этого ее требовалось слишком много. Успевали все съесть летом.

Осенью поспевала брусника. Той можно было набрать целую бочку. На сбор брусники Валя и Боря ездили на лошадях далеко в лес. Взрослые знали очень ягодные места. Бруснику очищали от мусора и парили в глиняных латках в большой печи. Ягода давала очень кислый сок. Эта кислота и спасала ягоды до весны. Брусника, да квашеная капуста, по видимому, были единственным источником витаминов на зиму. Клюкву собирали на болотах на зиму больше из медицинских соображений, лечились ею от простуды. Она сбивает температуру, помогает пропотеть, избавиться от шлаков в организме. Морошки на наших болотах было мало. Из других ягод черемуха была для баловства ребятишек. Старушки набирали на зиму рябину. Ее кистями развешивали на веревках на повети. Мороз делал ее сладкой при замораживании. Рябина была незаменимой при угарах. В холодное зимнее время жарко натопленные печки нередко несли в избу угарный газ, от которого страшно болела и кружилась голова, ослабевало все тело. Рябина помогает выйти из такого состояния.

Грибы шли в пищу после хлеба и картошки. Летние колосовики и ранние осенние грибы служили для супа и сушки на зиму. Как ни странно, но даже в тяжелые голодные годы в наших деревнях к грибам относились с особой разборчивостью. Из ранних ели только подберезовики, подосиновики и белые. Не признавали сыроежек, желтых козлаков. Уже после войны приехавшие из южных областей люди показали, что можно собирать и есть опят, лисичек. Мы жили в общем-то теми, которые можно солить на зиму бочками. Это сырые грузди и волнушки. Последние росли на ближних пожнях и открытых полянках, грузди – только в темных еловых лесах. Найдя грибное место, можно было за полчаса набрать пестерь (своеобразный ранец, сплетенный из бересты, который имел лыковые же лямки, чтобы носить на спине) или пару больших корзин. Но это было дело рук взрослых. Поздней осенью, иногда на конях, Боря и Валя ездили в дальние еловые леса за груздями. Нагружались, сколько могли увезти. Соленые хрустящие грибы зимой особенно хорошо шли с овсяными блинами, если была мука.

Фаня меня с ранних лет начала водить по ягоды и ранние грибы. Ей обязан я знанием ближнего леса вокруг деревни, умением разбираться в грибах, собирать ягоды.

Рыба из Вели и колхозные поля

Еще был один источник пополнения продуктов – рыба. Речка Вель, протекавшая под нашими окнами, в то время хранила в себе немало соблазнительной рыбы. Тут главным моим учителем был Валя, заядлый рыбак. У Бориса не хватало терпенья часами просиживать на берегу. Я обычно ходил по берегу за Валею, таскал чайник с небольшим количеством воды, в которую запускал пойманную рыбешку. В зависимости от сезонов и полноты воды в речке, Валя ориентировался то на один вид рыбы, то на другой. Для ловли щук даже он был еще маловат, но ельцы, сороги, голавли, подъязки, окуни и, конечно, царский хариус были всегда желанной добычей. Сам я тоже имел маленькую удочку, таская пескарей, ершей и самую мелкую рыбешку Вели – меевок. Если день бывал удачным, мама наутро пекла не шаньги, а рыбные пироги. Заеденье.

По берегу обычно ходили босиком, закатав штаны, мерзли от береговых ключей, обжигавших ноги, насквозь промокали даже от мелкого дождя, ежились от ветра, но охота была сильнее неволи, и возвращаясь домой, хвастали уловом и отогревались на печи. Благо ту топили и зимой, и летом.

Подкармливали летом и поля. Мы бегали на розовые полосы, засеянные клевером, срывали и жевали розовые мягкие цветы-шишечки. На гороховые посева начинали лазить еще до того, как стручки наполнятся белыми горошинами. И так до осени, пока горох не свезут на молотилку.

На овощных полях, тянувшихся параллельно речке, можно было, применив ловкость и хитрость, достать морковку, красную свеклу, репу, брюкву, а поздней осенью и капусту.

Все поля, естественно, охраняли сторожа – дряхлые старики, но набить карманы, на той же речке помыть и съесть добычу, было не трудно. Важно не попадаться с добычей в деревне. Это уже считалось воровством, преступлением перед государством.

Семья Елизаветкиных

Что значила война для нашей деревни, для ее людей, приведу пример семьи Елизаветкиных. Поскольку в деревне было множество однофамильцев, то я буду называть их по прозвищам семей. Нас называли Макаровы, соседей справа – Яколевчевы, соседей слева – Гашковы. Так вот через дом от нас жила семья Елизаветкиных. По имени ли хозяйки семьи Елизаветы или по иному совпадению получено это прозвище, но в деревне об этом никто и не задумывался.

Елизавета была постарше нашей мамы, муж ее рано умер, а на руках у нее осталось пятеро детей. Старший сын Иван по возрасту попал на войну. Был там ранен и снова воевал, стал офицером, а после войны женился и жил в других краях. Второй сын Слава был взят в армию в последний год войны, на фронт не успел. Третий сын Валя после четвертого класса работал в колхозе. Четвертому – Володе в начале войны было 8 лет после нее —12. Рос он худеньким, малорослым, какие долго ходят в подростках. Была у Елизаветы еще белокурая девочка Люся моего возраста. Она умерла шести лет. Я пришел с моей мамой на нее посмотреть и впервые осознал, что умирают не только старики. Я тоже могу умереть, как она. Мне очень не хотелось лежать в гробу таким же желтым и неподвижным.

Зимой, когда корова перестала доить, Елизавета, работавшая дояркой, набрала фляжку молока и под фартуком хотела вынести со двора. Заведующая фермой, наша же деревенская баба и даже елизаветина подруга детства, застучала ее и доложила председателю. Тот составил надлежащую бумагу. Елизавету судили и посадили на 8 лет. Служивший в то время в армии сын Слава пытался застрелиться, искалечил себе горло, потерял речь, долго лечился, потом работал пастухом в колхозе. Едва исполнилось 16 лет третьему сыну Вале, тот подался в фабрично-заводское училище и до конца жизни остался в Мурманске. В деревню приезжал раз или два. Володька помыкался с немым Славой, потом мы, мальчишки, проводили его, когда он уезжал к старшему брату. Там он прожил недолго, вернулся и уже женатым человеком говорил в минуты откровенности, что для него нет ничего лучше родной деревни. Умер рано от рака. Первая жертва среди моих однокашников. Его мать Елизавета вернулась из лагеря, полностью оттрубив срок, и доживала век в деревне.

Бабский генерал Тетерин

Запомнилось полновластие местных начальничков. Когда война началась, в деревню прислали из одного далекого сельсовета небольшого, шустрого мужика с землистым злым лицом по фамилии Тетерин. Никогда не смотрел людям в глаза, говорил только приказным тоном. Он вселился в дом, который был куплен в деревне нашим дядей Гришей до того, как в 1934 году его арестовали. Это был добротный дом с редкой особенностью: из малой комнаты в просторный мезонин вела винтовая деревянная лестница. Наша семья присматривала за домом. Тетерин вселился, никого не спросив.

Мама рассказывала, что пришла к Тетерину, сказала, что он поселился в дом ее брата и надо бы как-то платить за вселение. Тетерин ответил, что его прислали и он должен где-то жить, а об оплате никто ничего ему не говорил.

Так и жил он или, по словам старух, зверствовал в деревне. Ругал, грозил и требовал. Других разговоров у него не было. Немало слез пролили женщины после разборок председателя. Прихватив лучшую колхозную корову, Тетерин вернулся в свой сельсовет через год после войны. Земля слухами полнится, и вскоре после отъезда Тетерина в Филимоновке узнали о дальнейшей судьбе ненавистного им человека. Уведенная им корова первой же весной утонула в болоте. Дом сторел, жена умерла, сын, страдавший падучей (эпилепсией), тронулся умом. Наши старухи называли это божеской карой. Справедливы они или нет – не знаю.

День Победы

День победы я запомнил во всех подробностях. Потому что перебирал его в памяти тысячи раз с детства до старости.

Боре летом должно было исполниться 14 лет. Поскольку рос он не крупным, но крепким и жилистым, а по натуре смелым и напористым, то решил той весной включиться наравне со взрослыми в пахоту. Это самая тяжелая работа на селе того времени. Сдерживать тяжеленный стальной плуг на заданной глубине, подтаскивать его на разворотах, одновременно управлять лошадью и подгонять ее, требовалась немалая сила. Напряжение на все тело – на руки, на ноги, на спину. И это почти весь световой день. К пахоте кое-как справили Боре кирзовые сапоги. Уж не знаю, что там было с сапогами, порвались они или не высохли носки, но Боря шумел от недовольства, расшвыривал по полу портянки. Я от шума проснулся раньше обычного, забрался на печку и оттуда наблюдал за боринными сборами. Он ушел и стало тихо. Я подремал на теплой печке. В окна било яркое солнце и мне представилось, что уже начинается теплое лето. Захотелось на улицу. Но погода оказалась обманчивой. Поддувало холодком. Дошел до середины деревни, где у дома Маслехиных сходятся три улицы – наша – подгорная, вторая идет ей навстречу из Заручья и третья, которая ведет из деревни в гору и дальше дорога между полей тянется в соседнюю деревню Якушевку, где находится сельсовет с его телефоном и почтовым ящиком. В деревне тихо. Пахари выехали в поле. Ни звука не раздается ни от конского двора, ни от коровника. Ребята тоже сидят по домам. Я прижался к стенке дома, нагретой солнышком и защищенной от прохладного ветерка.

В деревенской тишине вдруг появились тревожные и необычные звуки: вопль, плач – сразу не разберешь. А было и то, и другое. Письмоносица бежала с горы из Якушевки с палкой в руках. Она подбегала к каждому дому, стучала палкой у окон, кричала и, не останавливаясь, проделывала то же самое у каждого дома. «Война кончилась!», «Война кончилась!» – разобрал я в крике письмоносицы, когда она прибежала к центру деревни и направилась к дому правления колхоза. На улицах появились люди из домов и все устремились вслед за почтальоншей к правлению. А там начало твориться невообразимое – радость, слезы, крики, причитания. Письмоносица рассказывала, что позвонили из Вельска, сообщили о победе. С полей верхом на лошадях примчались пахари. Председатель колхоза клял Гитлера и хвастал непобедимостью советской власти.

Вдовы и сестры погибших еще раз оплакивали своих. Кому повезло больше, обсуждали друг с другом, сколько придется ждать живых с войны. Все вместе гадали, насколько будет легче жить дальше. Все вместе требовали от председателя выдать хлеба по поводу такого праздника. Тот обещал, правда, неопределенно, таил, когда и сколько может выдать.

Посылки от папы

Победа пришла, а наши страхи за папу не только не уменьшились, но с каждым днем возрастали. Время шло, а писем от него не было. Мы уже привыкли хвастать сверстникам, что папа воюет за границей. Вместо привычных треугольничков, мы начали получать конверты. В одном конверте был лист очень белой бумаги с чертежами американского мотоцикла «Харлея». Папа на таком же белом листе без линеек написал, что жив, здоров, а воюет он на таком вот мотоцикле. На другой папин конверт приходила посмотреть вся деревня. Нижняя часть конверта была как бы с окошечком из целлофана. За этим окошечком стояла маленькая фотография: папа и какой-то высокий боец – оба с автоматами, в пилотках и гимнастерках стоят на фоне скирды соломы.

Еще до победы пришло от папы посылки. В первой было два больших куска хозяйственного мыла, материя. Во второй посылке лежали туго свернутый рулончик кожи, наручные часы, машинка для стрижки волос и что-то из женской одежды. Позднее папа рассказывал, что когда они проходили Румынию и вступали в Венгрию, офицеры стали отправлять посылки домой. Делали это и солдаты, но на свой страх и риск. Четких указаний насчет посылок не было. А тут вдруг офицер выстроил всех, оставшихся в батальоне, велел выйти из строя тех, кто не посылал посылку. Папа был среди них. Другие заволновались, как бы не пришили мародерства, о котором еще недавно сурово предупреждал тот же офицер. Но, видимо, установка была иная и офицер, как от себя лично, стал срамить вышедших из строя солдат, что не любят они свои семьи, не хотят им помогать в тяжелые годы, не оказывают вещевую помощь.

– Вы что, не видите, как живут буржуи, – поучал офицер. – Вон, какие у них хоромы! И все набиты таким добром, какой вам и не снился. Не только немецкие войска грабили наши города. С ними были и румыны, и венгры. Нечего их жалеть. А теперь приказываю, чтобы все помогли собрать посылки тем, которые сами не подумали о своих семьях.

Таково происхождение папиных посылок: первую – с мылом и тряпками собирали всем миром второпях, вторую уже осознанно.

Ранение папы

А тут ни весточки. Еще цыганки подлили масла в огонь: нагадали тяжелое ранение, показали якобы карточку папы, залитую кровью. Мама вечером заставила всех нам стать на колени перед иконой, помолиться за папу. Она делала это несколько раз, когда бывало особо мрачно на душе.

Наконец, в середине лета пришло письмо, папа писал, что ранен, врачи стараются спасти ногу. Если все будет хорошо, осенью будет дома.

Папу ранило 2 мая 1945 года в окрестностях австрийской столицы Вены, где еще шли бои. По рассказам папы, почти весь апрель он и его товарищи жили в постоянном ожидании окончания войны. Основные бои проходили севернее, ближе к Берлину, а его фронт считался более спокойным. Он продолжал колесить на мотоцикле между частями, развозя связных офицеров, порученцев с пакетами, иногда почту. Писем писать не торопился, ожидая главного события жизни – победы. И вот ранение, об обстоятельствах которого он не любил рассказывать. Петляли с сержантом-автоматчиком по разбитому шоссе, то обгоняя, то пропускавая встречные военные колонны. Тихие места их пугали больше, чем оживленные дороги, там легко было наскочить на случайные части немцев. У всех, кто пробирался со стороны Берлина, на ходу спрашивали, не конец ли войне? Вместе со страшным ударом папа потерял сознание и очнулся через несколько дней в небывало просторной палате с высокими потолками. Оказался в шикарном венском госпитале, утопавшем среди старых зеленых деревьев. Он заметил это позднее, когда пришел в себя и его кровать как наиболее тяжелого больного придвинули к высокому окну. Во многих местах у него была перебита левая нога. Чтобы спасти ее, одну за другой собирали кости в несколько операций. Между операциями и узнал он о победе.

У раненых только и разговоров, где сейчас та или другая часть. Из папиного мотобатальона никого в госпитале не было. Незадолго до его ранения в батальоне шел разговор, что, возможно, их отправят после капитуляции своим ходом в Россию. Офицеры подшучивать над солдатами: «Готовьте трофейные мотоциклы, поедите на них до самого своего крыльца».

Так ли это оказалось на самом деле, папа не знал. Но на всю жизнь запомнил теплый день, когда он немного оклемался от очередной операции и наслаждался зеленью, солнцем, тишиной. Вдруг весь госпитальный парк разразился родным для него треском множества мотоциклов. По коридорам тревожно забегали, боясь беды. Но папа услышал в коридоре знакомые голоса и в палату вбежали счастливые товарищи-мотоциклисты. Они действительно своим ходом возвращались на родину и заглянули попрощаться. Завалили кровать всевозможной снедью, заставили выпить вина за победу, подбадривали его. В тихом парке еще раз рывкнули в один голос мотоциклетные моторы и для папы опять наступила тишина, тишина беспамятства. Еще много недель приводили его в чувство от ран телесных и душевных. А мы получили его письмо уже в середине лета.

Встреча папы

В начале осени 1945 года наступил долгожданный день, когда мы встречали папу. Не знаю уж, как он известил, но мама знала поезд, в котором он прибудет на станцию Усть-Шоноша. Там составы тогда стояли дольше обычного, чтобы заправиться водой и углем. Мама поехала туда на дрогах (снег еще не выпал), а мы прибирали избу к празднику. С утра зачастила к нам вся деревня тоже в ожидании солдата с войны.

И вот мы обвешиваем папу посреди избы, не замечая, что на костылях ему трудно устоять от наших обниманий. Мы к нему льнем, плачем, он в наши плечи прячет колкое обросшее лицо, вздрагивающее от слез. Дольше других его не отпускает Фаня, раз за разом бросаясь на шею. Не отходит от него Валя. Даже Боря, обычно сдержанный, не скрывает слез и нежности к папе, поддерживает его костыль. Я сержусь на них, что мне меньше достается папиных ласк. Сам заворожено смотрю на родное, но и немножко незнакомое лицо. Два года разлуки вроде немного, но для меня, прожившему на свете всего восемь лет и два года разлуки составляют четверть жизни. Видимо не случайно я оказываюсь рядом с папой справа, а Фаня слева, когда садимся за пустой еще стол. На папу мне смотреть неудобно – снизу вверх. Зато прекрасно вижу интерес и любопытство, с которыми разглядывают и слушают папу односельчане. Мне кажется, что часть этого внимания относится и ко мне. И мне хорошо. Минута славы, как называют это ныне. Меня переполняет счастье и гордость. Сбылось самое большое желание семьи – вернулся папа.

Потом на столе появился хлеб кирпичиком и в самом большом блюде толченая на молоке картошка с чем-то необыкновенно вкусным, пускающим запах по всей избе. Мама подает мне ложку, подмигивает и подбадривает: «Ешь, это тушёночка. У нас такой не бывало».

Я в тот вечер считал, что с возвращением папы у нас все будет по-другому – хорошо, спокойно и сытно, поэтому на еду не налегал, о завтрашнем дне не думал. Кстати, именно война и голод заставляли нас, по сути – малышей и заморышей, думать о завтрашнем дне, о завтрашнем пропитании. У одних это превращалось в маниакальную жадность, у других просто в расчётливость. Возможно, я относился ко вторым.

Рассказы Папы о войне

Папа рассказывал о войне, где и как служил. Только позднее сложилось более-менее понятное мне представление о его военной доле. И это понятие закреплялось по мере расширения моего представления об услышанном и познанном.

К службе папы на войне ему исполнилось 37 лет. Он был вдвое старше тех молодых парней, которые подошли к призыву в конце 1943 года. Поэтому в части его называли отцом, батей. Когда в учебном батальоне попросили выйти из строя тех, кто умеет ездить на велосипеде, он в таком возрасте и вовсе оказался среди молодых, по преимуществу городских ребят, только что примеривших на себе солдатскую форму. В тогдашней деревне знали только один транспорт – лошадь. Даже редкий трактор использовался лишь на поле, да на молотилке. Деревню вывозила лошадь с телегой. Папа через свою МТС стал трактористом, рабочим, имеющим паспорт как в городе, и обзавелся велосипедом, чтобы добираться до своей работы которая находилась километрах в 25—30 километрах от нашей деревни. Это как считать – по прямой – 20, по кривым проселочным дорогам – все 40 км. И вот он, почти пожилой человек, оказался среди пацанов из-за велосипеда. Пути Господни привели его в формируемый мотоциклетный батальон. Их отправили в Ковров, несколько недель учили устройству мотоцикла, езде на этом рогатом двухколесном дьяволе в экстремальных условиях – без дорог, в грязи, через мелкие ручьи. На нормальной дороге от них требовалась максимальная скорость, на которую способны машины. Бывалые фронтовики, которые вели занятия, не щадили курсантов и многие из них уже на курсах начали счет своим переломам, серьезным ушибам. Папа удивлялся и говорил об этом не раз: зачем нужно было заставлять гонять по трамплинам, каменоломням еще неопытных мотоциклистов. Лишние травмы отпугнули часть солдат от машины. Все равно это не заменяло военного опыта.

По рассказам папы, в их мотобатальоне кроме самих мотоциклов было свое техническое хозяйство: мастерская на грузовике, ящики запчастей, заправочная цистерна. Были в батальоне свои полевые кухни, провиантский склад. Такие мобильные мотобатальоны передавались крупным воинским подразделениям.

Постоянным у двух или трехколесной машины был только один – мотоциклист. Автоматчик на заднем сиденье придавался в зависимости от поручаемого задания. Стрелковое оружие – в основном автоматы. Когда стали получать американские мотоциклы с колясками, в их комплект вошли и пулеметы, прикручивавшиеся в передней части коляски или в задней. Коляска предназначалась для пулеметчика или офицера, выполняющего задачи связного, штабиста, порученца или военного врача, фельдшера, почтальона. В ходе активных действий на территории других стран с их большими открытыми пространствами и неплохими дорогами мотоциклистов иногда передавали разведчикам. Папа со своей крестьянской закалкой помогал своим молодым городским сослуживцам починить обувь, наточить бритву, запаять котелок или кухонную утварь, отремонтировать мотоциклетный мотор в полевых условиях, подстрелить и зажарить зайца, косулю, фазана.

Папа при своей скромности не любил рассказывать о наиболее опасных случаях. Правда, и не стыдился своего страха. Пришлось как-то одному просидеть со сломанным мотоциклом целую ночь в полуразрушенном сарае, слышать немецкую речь с проезжавших почти рядом грузовиков. Чуть не поседел за ту ночь. Мотоцикл требовалось сохранить в любой ситуации – военная машина. Ценилась в прямом и переносном смысле дорожке оружия, и утрата его каралась самым суровым образом.

Другой раз в венгерском селе, где разместились его часть, возникла паника среди бела дня, и они спешно вывозили офицеров вместе с их штабными документами. Опомнились километром через десять, и тут один из офицеров спохватился, что оставил нужную папку. Ему

было приказано тут же вернуться в покинутое село за бумагами. Офицер плюхнулся в коляску папиного мотоцикла, на заднем сиденье примостился автоматчик и втроем они балками пробрались обратно к оставленному селу. Офицер держался за голову и торопил. Перед селом начиналось открытое пространство. Но дорога была ровная и они полетели к селу на удачу. Слышали только треск своего мотоцикла да ветер в ушах. На окраине ничего подозрительного не заметили, дорога переходила в улицу, она тоже была пустынна. За поворотом должен быть дом, где размещался столь спешно покинутый штаб. Около него-то и увидели ошеломившую картину. Там стояли немецкие танки с работавшими моторами.

Папа резко развернулся, миновали улицу, а дальше оставалось только открытое прямое шоссе километра на два. Все простреливалось. Немецкий танк не собирался упускать легкую добычу, выдвинулся к шоссе, и взрывы его снарядов начали ложиться все ближе к беглецам. Папа ощутил боль в левой ноге – ниже колена, но в управлении мотоциклом это не сказывалось, и он продолжал лавировать между воронками на дороге. Прямо перед мотоциклом, волоча ногу, выполз на шоссе красноармеец, опираясь на винтовку. Он кричал, просил спасти. Папа резко затормозил, автоматчик помог подтащить бойца. Уложили его на переднюю часть коляски, а ноги поддерживал автоматчик. Снова газ – и вперед к не простреливаемой балке. Только там папа заметил, что с автоматчиком неладное, он сполз с сиденья, уткнулся в ноги спасенному красноармейцу. Его сразило осколком. Раненого бойца поместили в коляску и теперь он поддерживал безжизненное тело автоматчика. Сиденье за папой занял никого и ничего не замечавший офицер, Добрались до своих и уже другой мотоциклист повез несчастного офицера в дивизионный штаб. Только тут папа заметил, что левый сапог полон крови: осколок от взрыва снаряда угодил в немецкий тесак, который он всегда держал за голенищем. Тесак сломался, на ноге осталась вмятина от вырванного куска мяса.

Трагикомические истории о войне

Папа больше любил рассказывать о трагикомических историях. Одну я слышал особенно часто. Это когда в Румынии они вечером, уже в темноте, обследовали странный склад, около которого взвод остановился на ночлег. Склад напоминал овощехранилище, наполовину вкопанный в землю. Вместе с напарником открыли громоздкую дверь склада, заметили лестницу, ведущую вниз. В нос бил странный дурманящий запах, слышалось тихое журчание воды. Карманный фонарик плохо освещал, упираясь в темень. Продвигаясь по лесенке, неуклюжие разведчики разом плюхнулись в воду, от которой почувствовали удушье. Как могли быстрее выбрались на свежий воздух. Товарищи их оказались догадливей, тут же организовали нормальное освещение, благо, аккумуляторы и фары были всегда под рукой. Склад оказался длинным подвалом с рядами бочек. Из простреленных кем-то бочек продолжалось цедиться красное вино. В винном озере и купались папа с напарником. Не трудно представить, каков был ужин у винного хранилища.

Папа восхищался молодыми городскими ребятами, проявлявшими особую дерзость во фронтовых приключениях. В его рассказах чаще других произносилась фамилия Дергачев. Этого москвича посылали на особо рискованные поездки с такими же лихими офицерами. Особенно после того, как они с автоматчиком привезли в часть связанного и запеленатого в коляске румынского офицера. У Дергачева было больше медалей, чем у других сослуживцев, но и взысканий тоже хватало. Он много дерзил и панибратски общался с молодыми офицерами.

На только что занятом румынском хуторе папу и Дергачева послали в большой господский дом проверить, не скрывается ли кто подозрительный. На втором этаже увидели в одной из богато обставленных комнат здорового бородатого мужика, лежавшего на кровати под одеялом. Дергачев навел на него автомат и скомандовал «Хенде хох!» На его зычный голос из-под кровати со звериным рычанием выскочила здоровенная собака. Папа успел выстрелить в нее, пока она не вцепилась в товарища.

Мужик вдруг сел на постели и на чистом русском языке заорал:

– Вы, голодранцы, пришли тут со своими колхозами. Убивать вас, как крыс!

Дергачев удивился такому хамству:

– Ты откуда тут, дядя?

– Не вам, свиньи, судить!

– Батя, ты слышал? – продолжал удивляться Дергачев. – Мы их от Гитлера спасаем, а этот бородатый... вякает. Вставай к стенке!

Мужик продолжал сидеть на кровати.

– Черт с тобой, подыхай тут! – обозлился Дергачев и пустил в бородатого короткую очередь.

– Да ведь это недобитый буржуй! – догадался Дергачев и, не жалея патронов, прошел по комнатам и палил в дорогую мебель, зеркала, люстры. Об этом случае папа и Дергачев начальству не докладывали. Не любили общения с особистами, которые стали особенно подозрительными с переходом наших войск за границу.

Возможно, из-за этого случая или еще что-то повлияло, но папа плохо отзывался о румынах и много лет спустя:

– Этим верить нельзя. Лживые, – говаривал он.

Папа рассказывал еще об одной истории. В той же Румынии батальон остановился на одном хуторе и папа был назначен помогать ротному повару у полевой кухни. Чуть свет нарубил дров, растопил кухню, а за водой нужно было через поле идти за километр к небольшой речке, обозначенной издали камышами. Взял ведра, перекинул автомат через плечо

и пошел к речке. Проходя мимо прошлогодней скирды, он услышал шорох. Нагнулся, навел автомат, подошел поближе и скомандовал:

– Хенде хох!

Из-под соломы выбрались два мужика в помятой румынской форме и на перебой что-то залопотали, явно прося о пощаде. Папа жестом велел им отойти от скирды. Сам подошел к ней и ногами нащупал две винтовки. Перекинул их через левое плечо. Пленные продолжали что-то жалостливое объяснять, а папа стоял в растерянности. Что делать? Ему нужна вода для повара, а тут навязались эти горе-вояки.

В это время со стороны части показался цыган, он красовался на великолепном жеребце, и такую же картинную кобылу держал на поводе. Ехал на водопой. Цыган служил в их части, в основном около кухни, но грезил лошадьми, о них только говорил. И вот вчера он привел этих прекрасных двух лошадей, рассказывал, как он сумел их, бесхозных, поймать в степи и соблазнил командира части пристроить скакунов в обозе, обещал научить его верховой езде, а уж о корме и уходе он позаботится сам. Тот не устоял – кому не хочется оседлать такого красавца. Сейчас папа обрадовался цыгану, передал ему две румынские винтовки и их владельцев, чтобы отвел в часть. Цыган грозно поднял на задние ноги своего коня над испуганными румынами и погнал их бегом к части, размахивая нагайкой.

Папа пошел дальше к речке. Не один раз еще пришлось возвращаться по воду, пока не сварили завтрак, а потом заполняли бидоны воды на обед, на ужин. Почти забыл про пленных. Слухи в части сами напомнили ему об утреннем приключении. Цыган утром продиктовал писарю штаба, как с боем захватил двух сопротивлявшихся румынских солдат, обезоружил их и благодаря приобретенным для части лошадям смог доставить их прямо в расположение части. В штабе оформили документы на награждение цыгана орденом Красной звезды. Так полагалось за захват вражеского солдата с оружием.

Через пару часов произошло другое событие. В часть нагрянули на двух виллисах полковник и майор из соседней дивизии за лошадьми. Рассказали, что этих лошадей, захваченных на румынском конном заводе, готовили для передачи в штаб корпуса. Неопытный солдат из сельских конюхов ухаживал за иноходцами и когда вел их на водопой, к своему несчастью, встретил ловкого цыгана. Тот схватил лошадей за уздцы и потребовал у конюха справку на право владения лошадьми. Справки, естественно, не было. Цыган заставил конюха бежать за справкой в свою часть, а сам в седло – и был таков. Не успев получить орден, цыган оказался в комендатуре. В мотобатальоне его, естественно, больше не видели.

К концу жизни папа все реже вспоминал о войне. Мы чаще сами ему напоминали.

– Помнишь, ты рассказывал, как ехали на мотоцикле разведать румынское село и нарвались на немецкий танк?

– Еще бы не помнить. Автоматчика потеряли.

– Вы еще и раненого красноармейца спасли.

– А как его не подобрать, смерть ему была неминуемая. А он и в сознании и на винтовку опирается, старается тащиться к своим. Перекинули его через люльку, автоматчик и офицер поддерживают, а я вцепился в руль, виляю между воронок и только молюсь, чтобы не прямое попадание. Кабы не «харлей», не удрать бы нам на другом мотоцикле от этого танка, лупил почем зря. Тесак от немецкой винтовки спас меня. Держал я его всегда за левым голенищем. Он мне служил и ножом, и саперной лопаткой. Надо же – осколок ровно в тесак попал и пополам его. Но выковырнули эти половинки ямку в глине, аж до кости.

Папину ямку мы с детства знали, как и другие шрамы. А папа еще раз добавил, какой хороший мотоцикл американский «харлей».

Глава IV: Послевоенные годы

Выступление папы, как ветерана войны

Когда заведующий клубом приглашал папу на вечера, посвященные военной славе, папа всегда отнекивался. А потом его и приглашать перестали. Мама поругивала его за излишнюю скромность. Ей обидно было, что о войне говорят те, которые не воевали – начальство. Говорят, как надо благодарить фронтовиков за победу, а на курорты сами ездят. За всю жизнь мама не помнила, чтобы кому из этих фронтовиков хоть бы раз дали съездить в дом отдыха. А начальством в глазах мамы были все – от директора комбината до начальника цеха. В альбоме моего тестя по первой женитьбе Александра Леонидовича и тещи Марии Васильевны было много фотографий об их счастливом пребывании на черноморских курортах. Он был главным бухгалтером комбината, она – уборщицей конторы. Это я о справедливости маминых слов, а что касается меня, то я с большим уважением относился к Леонидовичу, а к Васильевне, как к типичной теще. Но это к слову.

А тут зачастила в дом молодая учительница из местных. Знала она папу со времени своего детства, уговаривала рассказать о войне. Тоже отказывался, мол, говорить не умею. А учительница не отставала, фронтовиков в поселке оставалось они с Александром Семеновичем Ровнером, да двух-трех совсем немощных стариков. Папа согласился пойти в школу, когда учительница сказала, что с ним пойдет и его тезка Ровнер – мастер на рассказы. Он в армии служил по интендантской части, а в нашем северном поселке – в ОРСе, до 70 лет оставался заведующим техническим складом.

Вот приезжаю я в очередной отпуск. Пока Борис с Ниной на работе, их ребята в школе, мама творит традиционный завтрак. Опара удалась и она на свое тонкой, старой-престарой сковороде в пылающей печи творит тонкие пшеничные шанежки. Тут же смазывает их топленым маслом, посыпает толочком и раскладывает так, что они полчаса остаются теплыми, почти горячими. В торжественный момент приносит давно припасенную не раскупоренную бутылку, привычным движением стирает с нее фартуком пыль. Папа от этих знакомых жестов приободряется, достает с полки стопки, из холодильника – соленькие грибки, с сошка – чугунок чищенной, разваристой картошки.

– Хватит шанег, садись завтракать, – командует папа, и мы втроем садимся за стол. Выпиваем по стопке.

– Рассказал бы сыну-то как в школу к ребятишкам приглашали, о войне рассказывал. А то болтают, кому не лень, а мужики, которые воевали, будто и не причем, – призывает мама и подмигивает мне.

Папа вяло возражает:

– А ты попробуй, расскажи, если ребята ничего не смыслят. Они в пятом классе и разговор только про стрельбу.

– А ты рассказывай, что видел.

– На войне такого навидеешься, что лучше не рассказывать. Срамота одна с этой встречей. Ребятишки ждут особенное, а я что – об одном рассказывать нельзя, другое не интересно им.

– Что ребят-то интересовало? – спрашиваю.

– Как обычно, сколько немцев застрелил?

– А ты что?

– Что, что – говорю, как было: стреляешь из автомата в их сторону, чтобы не повадно им целиться, а попал в кого или нет – кто знает? Особенно в Будапеште было опасно. Некоторые

наши командные пункты уже находились в городе, а совсем выгнать немцев и мадьяр никак не могли. Везешь связного офицера на командный пункт, а из какого-нибудь окна так польют очередь, тут одно спасенье: полный газ и за угол, если такой увидишь. Выследишь, откуда стреляют, и пошлешь в ответ очередь. А то и пулеметчик пошлет свои зажигательные. Пока там очухаются, пролетишь полосу, которая простреливается.

– У тебя же медаль «За отвагу», – напоминаю я. – Ее только за личное мужество давали. Вот и рассказал бы, за что. За Будапешт наверно?

– Нет, «За взятие Будапешта» давали всем, если твой батальон участвовал в штурме. И поварам давали, и сапожникам.

– За отвагу-то за что дали?

– Это за Балатон. Тоже в Венгрии. Немцы отступали, отступали, а потом, откуда ни возьмись, как пошли ломить, что впору самим окапываться. Несколько прикомандировали к разведчикам. И я с ними. Вот уж лихие ребята, как один. Они даже с офицерами по-другому разговаривали, чем наш брат. Никогда не говорили, зачем едем. Только по карте направление, да особо опасные места показывали. Всегда брали с собой много гранат. Иногда уходили пешком в занятые станицы, и мы ждали их по несколько часов в укрытом месте. Чаще возвращались тихо. Но бывало, что специально шумели. Со стрельбой, с гранатами, шум, панику поднимали. Будто наступление какое. Тут уж и мы откручивали выхлопные трубы и мотоциклетной трескотней помогали. От нас шуму больше, чем от пулемета.

– Ну и рассказал бы ребятам, за что получил медали.

Папа усмехается.

– Ну, были медали, а другой, может, в окружении лицо в лицо не одного немца укокошил, а ему не дали, потому что погиб и никто не подтвердит его геройства. Да и командиры не любили докладывать об окружениях, потому как сами виноваты – не доглядели.

Мама успокаивает:

– А Нина, учительница-то, хвалила и тебя, и Сашку Ровнера.

Папа оживает.

– Сашка – тот знает, как детишкам потрафить. Ну, спрашивает, что на войне самое главное? Ребята гадают: один говорит – пушки, другой – самолеты, третий – автоматы, перечисляют все. Семеныч и отвечает им, что самое главное на войне – хлеб. Голодный солдат, говорит, не вояка. Так вот он, Семеныч, подвозил на передовую хлеб и рассказал про такие случаи о бомбежках, атаках, перестрелках, что ребята, наверно, час слушали и не шалили.

– И правильно делает, что умеет рассказывать, – подытожила мама.

– А я что, обидное сказал? Это на фронте кашеваров ругали, потому что всегда опаздывали с едой, а пуля или осколок летели во всех, не разбирая.

Валяние валенок

Я отвлекся от рассказа о папином возвращении с войны. Видимо, чувство радостного возбуждения сказалось и на сне. Я проснулся рано, убедился, что вчерашний день не сон – папа действительно дома, спит в маленькой комнате на нашей широкой деревянной кровати и из-под одеяла видна ступня ноги в белом и твердом как камень гипсе. Я обследовал места, где может лежать что-нибудь съестное. Из прикрытой полотенцем ладки исходит кисловатый запах ржаного теста. Мама еще не вернулась со скотного двора и не пекла шанег. Я-то запомнил с вечера другой запах, но утром нашел только две пустые жестяные банки из-под тушенки.

Мечты о новой сытой жизни улетучивались. После скудного завтрака папа оделся, подхватил костыли и пошел в правление колхоза. Вернулся нервный, расстроенный, молчаливый.

– Что Тетерин-то сказал? – спросила осторожно мама.

– Сволочь, даже не посмотрел в мою сторону. Я сказал ему, что раненым солдатам положена помощь. Семья голодает. Он буркнул счетоводу: «Выпиши три кило муки за наличный расчет». Гад, попался бы он нам на фронте. Я говорю, не с наживы приехал, где у меня деньги? Да и три килограмма не спасут. Увидит он меня еще.

Папа замкнулся. Встречался с немногими вернувшимися с войны мужиками. У них с нашим соседом, тоже фронтовиком Евгением Енягиным (по-деревенски – Еня), возникла идея научиться валять валенки. Обувь на севере стоит выше еды и одежды. Зимой – тем более. Недаром пуще всего боятся в холод подмочить или заморозить ноги. Их прежде всего отогревают, добравшись до тепла. Не только наша семья, вся деревня поизносилась. Не осталось умелых и сильных мужиков для катания валенок. Старик Влас знал эту премудрость, да сил не имел и инструмент давно забросил. Изготовление валенок требует не только умения и инструментов, но и большой физической силы. Енягин пришел с войны раньше папы после сильной контузии и ранения в руку. Папа мог стоять только с помощью костыля, но руки были крепки, чтобы отбивать и пушить шерсть с помощью специального приспособления. Это своего рода лук с тетивой из витого бычьего ремня. Удар по туго натянутой тетиве специальной деревянной ручкой вызывает ее долгое колебание. Касаясь свалявшейся шерсти, колеблющаяся тетива разделяет и разбрасывает шерстяные волокна. Шерсть становится почти воздушной, легкой, как облачко. Только такая шерсть после многократного мокрого сминания становится ровным, прочным и мягким войлоком в форме валенка. Специальные колодки и клинья позволяют придать валенкам нужную форму и размер по ноге. В отличие от заводских валенки ручного изготовления отличаются легкостью, эластичностью. И дольше не изнашиваются. В них шерсть сохраняет все природные качества, держит тепло, остается эластичной и в то же время пропускает воздух настолько, чтобы нога не потела.

Несколько вечеров папа с Еней брали уроки у деда Власа, собирали по деревне завалывшиеся инструменты, восстанавливали утерянные детали. Потом яро взялись за работу и наша изба пропиталась запахом мокрой шерсти, влагой от кипятка и сушки сформированных валенок в русской печи. Когда наши мастера сбивали шерсть в плотный сформированный войлок, стукотня слышалась на полдеревни.

В семье впервые у каждого из нас появились свои валенки. Полдеревни обзавелись зимними обновками. Мастера брали за свою продукцию по-божески. Платили им без таксы, кто чем мог: картошкой, капустой, грибами, мукой, шерстью.

Папе дали вторую группу инвалидности. Несколько раз он ездил в Вельск менять гипс. Нога срасталась с трудом. И все равно срослась плохо, папа прихрамывал всю жизнь.

Как-то зимой председатель колхоза Тетерин пришел в наш дом:

– Хватит шабашничать, иди в овинах зерно сушить.

Папа схватил свой костыль, но не успел пустить его в дело – председатель вовремя выскользнул из избы. Папа сдержал свое слово и в колхоз больше ни ногой.

Попытка уехать

Весной папин друг детства Константин Петрович Галкин, оставшийся после демобилизации в большом донецком колхозе (село Комари в 30 километрах от Донецка), написал ему и попросил помочь перевести туда его семью – жену и двух дочерей. Заодно звал и нас на юг, где уже не знают голода. Брат Боря тоже запросился поехать с папой. И они уехали. Писали оттуда, как хорошо, оказывается, можно жить: тепло, сытно, к людям хорошее отношение. Папе там дали гусеничный трактор и он, приспособив к левой педали свой костыль, исправно работал на машине весну на пахоте и посевной, летом таскал прицеп, осенью пропадал на уборке. Боря легко освоился с местными условиями, влился в среду подростков, которые его любили за смелость и общительность. На заработанные трудовни они купили мешок пшена, несколько узлов другой крупы, белой муки. До Москвы невозможно было достать билеты, поэтому добирались, где на крыше, где на подножках, где в товарняках. Хлебные припасы служили платой тем, кто сгонял их с поездов. И все же немного привезли домой и я до сих пор в восторге от пшенной каши на молоке. Она мне не приедается. В отличие от овсянки, на которую обрекла меня моя старая печень, пораженная эхинококкозом и гепатитом Ц.

Только вот уехать нашей семье не удалось. Возникли проблемы с выдачей маме паспорта. А без него ты бесправный колхозник. Колхозы и сельсоветы пытались всячески придержать на месте тех, кто остался в живых, не погиб и не умер. Основная рабочая сила в деревне была выкошена войной. Колхозы дышали на ладан. Как и вся экономика. Военное производство в наших политических условиях только отбрасывало экономику назад, ничего не давая взамен тому, что служит не разрушению, а благу людей – производству продуктов, каких-никаких товаров.

Чем круглее становились юбилейные даты Великой Победы, тем скептичнее воспринимались речи наших заливчатских военачальников, которые утверждали, что если бы Сталин не остановил их в Берлине, Праге и Вене, они дошли бы до Атлантического океана и навели порядок во всей Европе. Это можно было говорить советским людям, которые до поры до времени не знали Европы, Америки с их колоссальными экономическими возможностями. А великий Сталин не нашел ничего важнее в первые послевоенные годы, как продолжать штудировать лавочника Маркса (товар-деньги-товар), сочинять книжку по языкознанию, сажать неугодных, заниматься мелкими интригами в узком кругу людей, которых он держал и презирал. А корни России – деревня, коллективные хозяйства подгнивали и никаких ресурсов уже не оставалось. С этой статистикой я с интересом знакомился в университете. У нас читал лекции профессор Ильин, который в большой книге «Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны» писал главу о сельском хозяйстве.

Отсасывание трудовых ресурсов из села началось по планам индустриализации. Руками селян строились заводы, фабрики, комбинаты, железные дороги, каналы. Они же формировали и рабочие коллективы. Их сельская неприхотливость смягчала социальные проблемы. Они довольствовались палатками, бараками, скудными пайками. Отсюда берется начало квартирной проблеме в стране. Восстановление разрушенных войной городов и промышленности также в большой степени легло на плечи деревенской молодежи. Ей разрешалось выходить из колхозов.

Афера с подменой имен братьев

Подростки нашей деревни были взбудоражены небывалыми перспективами. Ребятам, достигшим 16 лет, было разрешено поступать в училища фабрично-заводского обучения (ФЗО). Уехать в город, получить городскую специальность – это было несбыточной мечтой многих деревенских ребят. Работы они не боялись – деревня, колхоз приучили к этому с малых лет. Но чтобы за работу еще получать на руки деньги, а со своим паспортом свободно поезжай, куда хочешь – такого северная деревня практически не знала с возникновения колхозов. Ребята засобирались в архангельское строительное ФЗО.

Наш активный и часто бесшабашный Борис, конечно, не мог не загореться новыми перспективами. Поездка в Донбасс укрепила его в своих силах. Но была загвоздка – ему не исполнилось в тот момент 16 лет. Деревенские получили еще один урок: это в деревне не спрашивают про года. Хватило у Бориса сил – и начал пахать, хотя дорос только до 14 лет. Никто его не жалел, не отговорил. А в городе даже в училище не берут, если не достиг 16 лет.

По возрасту у нас подходил Валя. И Боря предлагает вечером, когда вся семья была в сборе, поехать ему в Архангельск со свидетельством о рождении Вали. Пусть его будут звать Валеи. Двое наших же деревенских парней, собиравшихся в то же ФЗО, пообещали, что секрета не выдадут и Борю станут называть Валеи. Так и сделали. Боря уехал на полугодовое обучение на государственном содержании. У фезеушников тогда была даже своя казенная форма одежды.

Наша семья так легко решила с подменой потому, что очень хотелось выучить Валу. Он уже два года мыкался в Усть-Пдюге, которая находится в шести километрах от нашей деревни, чтобы закончить там семилетнюю школу. В распутицу и холодной зимой он жил у двоюродной тети с более чем скромным своим пропитанием. Папе и маме хотелось иметь в семье грамотного человека. Пример дядей по маминной линии задевал семейное самолюбие. Роли были уже как бы распределены: Вале с его слабоватым здоровьем, но умением терпеть надо во что бы то ни стало выучиться, а Боре выпадало идти по папиным, рабочим стопам.

О моей и Фаниной судьбе еще не задумывались. Когда в 1945 году я пошел в первый класс, она заканчивала четвертый. Собственно, на этом и завершилось ее образование. Они с Борей пошли самым элементарным в те годы путем, которым шли многие миллионы сельских жителей. И только личный характер, да складывавшиеся обстоятельства разводили их судьбы. Фаню ждала типичная и самая тяжелая на селе работа доярки.

Строительство комбината в Солге

Зимой отправили Борю «в люди», а весной в округе заговорили о непонятных для деревни переменах, о строительстве домостроительного комбината. Впрочем, папа кое-что знал. Еще до войны сюда приезжали геодезисты, обследовали лесные массивы, вели расчеты по их вырубке и переработке сосны в строительный брус. А брусья можно вести, куда хошь, складывай из них дома, цеха, тюремные бараки. Папа, имевший зимой свободные дни до полевых работ, и хорошо знавший места как охотник, иногда сопровождал геодезистов и знал от них о строительных планах. Наверно, у него появились свои расчеты, и он потерял интерес к переезду в Донбасс, ждал, что изменится на родине.

Зимой папа опять валял валенки, а окрепнув и отбросив, наконец, костыли, стал искать работу понадежнее. Мы продолжали испытывать тяжелую нужду. Страна жила еще по законам военного времени и колхозы должны были сдавать государству все, в том числе и сено. Папа устроился приемщиком сена на станции Куваш, оформил Валию и Борю сторожами приемного пункта. Никто тогда не спрашивал, где на самом деле ребята. Папа круглые сутки пропадал на приемном пункте, работая за троих. На всех троих выдавали карточки на хлеб. Летом я обомлел от небывалого зрелища: папа привез на дрогах с десятков буханок хлеба, трехлитровую стеклянную банку растительного масла и узелок сахарного песка. Я видал столько лишь в магазине и боялся к ним притронуться, вдруг это не наше? Лишь вечером, за ужином, я поверил в чудо.

Самые большие перемены для деревень нашего административного куста начались с упомянутого строительства домостроительного комбината. Весной в нашу Филимоновку и соседнюю Якушевку прибыло две роты солдат прямо из Германии с советской, американской и немецкой техникой – автомобилями, тракторами, электрогенераторами, полевыми кухнями. Солдат сначала разместили по деревенским избам. У нас квартировало четверо. Особенно привязались мы к молодому украинцу Василию. Он при каждом случае вспоминал свою хлебосольную Украину и искренне поражался, как мы можем жить, где природа несправедливо скупа и сурова. Он подкармливал меня борщом из своего котелка, ломал на двое свою пайку. Своим куском хлеба я делился с Фаней.

Солдаты уезжали с утра на работу и возвращались поздно вечером. Они вырыли землянки для собственного жилья недалеко от запланированных цехов. Одна землянка у них стала клубом, где бесплатно показывали кино. Мы, конечно, первыми проторили туда тропинку через лес и реку. Другие солдаты с весенней оттепелью лопатами рыли котлованы под фундамент цехов. Для этого было отведено ровное поле у реки Вели. Реку в этом месте перегородили запанью. Это своеобразная цепь связанных между собой пучков бревен, накрепко закрепленная к берегам. Такая загородка из бревен остается на плаву и задерживает плывущий лес, но пропускает под собой воду. Военные своими мощными тракторами выдирали бревна из образовавшегося залома, накатывая их один на другой, возводили высокие штабеля. Отсюда им дорога – под ножи пилорам, уже установленных на бетонном основании прямо на улице. Только позднее над ними надстроили крыши, потом стены. Видимо, так возводили вывезенные перед немцами оборонные заводы в заснеженной Сибири.

Все, как было во время войны: сначала выпуск продукции, потом условия для работы и в последнюю очередь – условия для жизни. За последующие годы бывшее колхозное поле поднялось на несколько метров над уровнем нашей речки за счет опилок, коры и щепы, оставшихся после обработки бревен. Здесь переработано не менее тысячи квадратных километров добротного соснового леса. Измеряют же объем воды в морях и крупных озерах в кубических километрах. Северная тайга – те же кубические километры, только, в отличие от круговорота воды в природе, зеленое море не восполняется само по себе.

Когда солдаты живут в землянках – это еще можно понять. Но вскоре на комбинат начали приезжать люди, не нашедшие себя в других местах. Их всех называли вербованными, хотя немало ехало и без подъемных, как называли деньги, выдававшиеся по вербовке. Им негде было жить. Деревенские дома уже не вмещали всех желающих. Около строящегося комбината сначала появилась улица из палаток с буржуйками. Как их ни старались утеплить, натапливать, северная зима не щадила рискованных людей, морозила по полной своей программе. Спешно строили длинные бараки: по середине коридор и из него двери в маленькие комнатки с печкой и окном. Все делалось по законам военного времени – наскоро, временно, ненадежно и с неясной перспективой. Указание одно: даешь разрушенной стране деревянный брус для отстройки городов. Других указаний и вообразить было невозможно.

О советской пропаганде

А когда отменили продовольственные карточки, то и вовсе желать стало нечего. Можно было только помечтать каждому в узком семейном кругу о теплом собственном углу, о сытых, одетых и обутих детях. О себе уже почти не думали, война показала зыбкость существования, думали только о будущем, о своих детях. А пропаганда умела подсунуть советским людям мечты о будущем вместо решения повседневных проблем. А будущее создавалось не тобой, а великими кремлевскими мыслителями.

Даже немногие оставшиеся еще в живых мои ровесники могут попенять мне, что не так уж они и слушали тогдашнюю пропаганду, что не очень верили обещаниям и сами в меру своих сил старались устроить свою жизнь. И они по-своему правы. А с чем они могли сравнить свою жизнь? Видели ли они другие варианты решения тех или иных проблем, касающихся и их лично?

Вот вам примеры из жизни нашего поколения.

В годы войны время от времени привозили кинопередвижку. Не уверен, что киномеханик мог накопить хотя бы десять рублей со своих показов, но кинопередвижку доставляли. Дети обычно брали дома яйцо и подавали киномеханику, как плату за проход, парней постарше он пропускал за то, что те крутили динамомашину, которая худо-бедно показывала немые кадры на экране из простыни. Женщины тоже кое-что приносили в фартуке киномеханику, чтобы подивиться патриотическим живым картинкам. Я помню очень урезанные фильмы «Александр Невский», «Она сражалась за родину».

Пропаганда стояла выше материальных... нет, не благ, а элементарных материальных потребностей. В годы войны экономили на всем. А вот районная газета «Ленинский путь», требовавшая помещения для типографии и редакции, наборщика, такого дефицитного по тем временам материала как свинец, затрат на другие цели, в том числе по доставке газеты, продолжала выходить. Достаточно было появления в деревне одного номера газеты, чтобы в разговорах жители могли сослаться: «об этом писала газета». Авторитетнее информации не было. А газета писала о том, что требовали власти.

Внимание к советской пропаганде и советской же культуре (подчеркиваю слово «советская») сказывалось и в том, что в примитивные холодные послевоенные бараки начали проводить радио, олицетворявшееся динамиками в форме черных бумажных тарелок. Скрипучий и глухой звук сквозь шипение этих тарелок был ужасен, но они доносили в поселок московский голос.

В 1948 году из поселка в нашу Филимоновку провели по столбам проводное радио. Электрическую линию в Филимоновку провели только спустя лет 15. Во всяком случае, в 1957 году я заканчивал среднюю школу при керосиновой лампе. Уж не говорю, что электрические установки для механической дойки коров на молочной ферме появились еще намного позже. Об облегчении труда, о механизации производства заботились гораздо меньше, чем о пропаганде. Единственное, что в некоторой степени может оправдать это, так то, что пропаганда была во многих случаях не отделима от культуры. И культуре тут немного повезло.

В то время, как Филимоновке стало доступно радио, в деревне появились новые динамики в виде деревянных коробок с матерчатым круглым окошечком. Плохо слышавшие старики его включали на весь день и на полную громкость. Летом, когда открывались окна, из каждого дома только и слышался через динамики голос Москвы, песни. Можно было пройти из одного конца деревни в другой и ни слова не пропустишь из московской передачи.

С радио пришел в деревню театр у микрофона, познавательные передачи, репортажи со столичных футбольных матчей.

Глава V: Школьные годы в Солге

Школа и взросление

Надо отдать должное, что вместе со строительством бараков в поселке с уже укрепившемся названием Солгинский, возвели из круглых бревен новую четырехгодичную деревянную школу и помещение для клуба. В школе той я закончил четырехлетку. А в пятый класс я пошел уже в двухэтажную десятилетнюю школу, выстроенную из выпускавшихся комбинатом деревянных брусев с центральным отоплением, приличной библиотекой, кабинетом для физики и химии. Клуб, наскоро сбитый из толстых досок, был пригоден летом, а зимние холода его просто не открывали. Я успел там посмотреть несколько фильмов и то, что особо осталось в памяти – спектакль «Без вины виноватый», поставленный самодеятельными артистами из районного городка Коноша. Если кино поражало техническими возможностями, то спектакль запомнился невиданными для меня возможностями человеческого перевоплощения. Через год был построен новый клуб, а еще года через два – был открыт клуб с кинозалом, фойе для танцев, библиотекой и читальной комнатой, с помещениями для самодеятельных кружков.

Я пошел в школу с 8 лет, как и большинство моих деревенских ровесников. Это была осень 1945 года. А до школы все мои познания ограничивались деревенским узким кругом. Делом чести для мальчишки того возраста было научиться ездить на лошадях «в скок», то есть галопом. Я уже умел это делать и моим первым и любимым коньком в этой науке был ласковый каурый меринок Клубок. В дни жатвы Боря работал вместе с деревенским парнем Валентином на жнейке-самосброске. Это тяжеленный агрегат, который косит хлеб, накапливает стебли с колосьями на подвижной площадке. Валентин, сидя на железном сидении, нажимает на педаль и жнейка сама сбрасывала их на землю, чтобы женщины каждую уложенную кучку связали в сноп. Такую тяжелую махину могли тащить по полю только две самые крупные и сильные лошади колхоза Звездка и Зона. Третьей лошадей в упряжке самосброски был неутомимый скромный по габаритам каурый конек с хорошим теплым именем Клубок. Все лето Звездку и Зону откармливали. Во время жатвы не отпускали в лес на пастбу, а кормили на дворе. По мелочам не тревожили, в телеги не запрягали, да и не вмещались они в стандартные оглобли. Было что-то символичное в том, что королевы колхозного конского стада составились в то время, когда на смену лошадям и в нашем колхозе пришла техника. А их потомство – прекрасные кони еще долго тешили тех, кто любил быструю езду верхом и в санях.

Управлять лошадьми на жнейке было тяжело, требовалось следить, чтобы не наехать на крупный камень или другое препятствие и в то же время вести жнейку прямо, ровно. Это было задачей того, кто сидел «на выносе», то есть на третьей лошади, возглавлявшей упряжку. Эту роль выполнял терпеливый и послушный Клубок, а на нем восседал наш Боря. Со вспыльчивым Валентином никто из деревенских подростков не мог работать, никто не мог ему уноривить, всех прогонял при первом же неудачном заезде. И нашему Боре доставалось, в том числе и длинной плетью, но он был терпелив и вспыльчивый Валентин соглашался работать только с ним.

Боря и его строгий и капризный начальник уезжали на жатву рано. Мама после работы на скотном дворе возвращалась домой, готовила завтрак. Обычно это были полевахи – толстые ржаные сочни, наполненные сверху картофельным пюре, сдобренным топленым маслом. Уложив в зобеньку (корзинка из плетеной бересты) полеваху и бутылку молока, я отправлялся на поле. Жнецы, позавтракав, снова брались за работу, а я старался до обеда заняться чем-нибудь поблизости, чтобы на обед поехать вместе с Борей и Валентином. Тут-то Клубок был

моей лошадкой, терпеливо слушался меня и даже усталый, не отказывался немножко пробежать мягкой не тряской рысью. Я же водил его на водопой, подкидывал лишнее берема хорошей травки.

Второе условие взросления – научиться плавать в Вели, ловить рыбу на крючок. Тут моим учителем был Валя. Сам он готов был любое свободное время проводить с удочкой. Долго я помнил своего первого ельца, а еще дольше хариуса. Теперь помню только первую щуку, пойманную на спиннинг дяди Ивана.

Зимой мы с ребятами соревновались в смелости, когда катались с горок на лыжах. У нас были довольно высокие и крутые горки. Тут самым смелым, впрочем, как и в езде на лошадях, был Витя Кузькин. Парень физически крепкий и до отчаяния смелый. Из одноклассников я мог претендовать лишь на вторую роль в снежных и конных забавах. Самую же крутую горку у деревни одолел наш Боря.

За этими увлекательными занятиями и пришла пора учебы. Читать и худо-бедно писать я все же научился до школы. Два брата и сестра, хочешь не хочешь, вовлекали меня в свой учебный процесс. Я разглядывал картинки в их учебниках, надоедал с вопросами, и они волею-неволей объясняли мне буквы, учили читать по слогам. Счет до ста тоже давался без большого труда. От них я усвоил, как определять время по часам, различать дни недели. Они же заставляли меня участвовать в написании писем папе на фронт. Я обычно прикладывал к тетрадному листочку растопыренную ладонь и обводил каждый палец карандашом. Чтобы папа знал, как быстро растет моя рука и я сам. И приписывал в письме свои несколько строк печатными буквами.

Букваря у нас не было, попыток читать что-то из учебников у меня не появлялось. Сказок у нас никто в слух не читал и не рассказывал, чтобы я мог слушать их. Конечно, сказку по щучьему велению я знал, но никогда не мечтал ездить на печи. А вот, катаясь на санках, часто воображал, что еду на грузовике, который впервые увидел в возрасте пяти-шести лет. Помню, как кто-то из друзей Вали пересказывал сказку о маленьком мальчике, которого гуси проносили на себе в небесах из одного места в другое. Я, естественно, прикидывал все услышанное на себе и понял, что мальчик-то был маленьким уродцем, которого может запросто возить на себе гусь. С нормальным мальчиком такое не могло произойти, а сказка про уродца мне была неприятна. Во мне просыпался реалист и скептик. В дальнейшем мне также не пришлось по душе и фантастика, кроме той, что содержала в себе черты возможных технических достижений. Я прочитал позднее все попадавшие мне книги Жюль Верна, «Туманность Андромеды» Ефремова, «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого, многие рассказы о технике будущего. Но мне претили фантазии вроде мыслящей головы, отрезанной от тела.

Газета «Ленинский пуд»

Что-то мне было, видимо, написано на роду, если меня, маленького, заинтересовала районная газета «Ленинский путь». Происхождение книги меня не интересовало – это было непостижимое и далекое-далекое от нас. А газета-то делается в 50 километрах от нашей деревни, где бывают многие взрослые жители Филимоновки, и мне, реалисту, было любопытно ее понять. Уж не удержусь и выражу сейчас свое убеждение: первое, чем должен обладать журналист, это любопытство. Второе: желание рассказать другим о том, что интересное увидел или узнал сам. Я говорю о том своем состоянии, когда я только учился в домашних условиях читать и писать. С названием газеты «Ленинский путь» произошел, правда, курьез. Как ни странно, но слово «ленинский» я усвоил без усилий. Кто не знал Ленина? Все знали. Сложнее было со вторым словом «путь». Я не знал значения мягкого знака, поэтому перевел это слово с письменного на устный как «пут». А «пут» для меня был ничем иным, как «пудом», в котором измеряется вес зерна или муки в мешке. Так я долго считал, что название газеты означает полновесный ленинский пуд.

Начальные классы

Примерно с таким умственным багажом пошел я в первый класс. Походил несколько недель, продемонстрировал свое чтение по слогам, счет. А тут началась осенняя распутица. Кожаной обуви у меня не было. Зимой папа сваял валенки, но зимней одежды как не было, так и не появилось. А там весенняя распутица. Фаня меня подтягивала в учебе, как могла. Читать я стал свободнее, руку поставил для письма. Чуть подсохло весной, домашние снарядили меня в школу. К моему удивлению, я почти не отстал. Меня перевели во второй класс.

Второй учебный год для меня был не легче в бытовом плане. А опыт первого класса только расхолаживал. Я ходил на занятия по возможности. Папа и мама меня жалели и придерживали дома. Таблица умножения и скорость чтения меня подкосили окончательно. Я показал самое плохое чтение на скорость в соревновании, устроенном учительницей. Вообще к книгам у меня в начальной школе не появилось никакого интереса. К арифметике я тоже был равнодушен. Тогдашняя школа не побуждала деревенских ребят ни к учебе, ни к увлечениям. Отбывали ее как неизбежную повинность. А ведь были определенные задатки у всех у нас – у Вали, у Бори, у Фани. Борис, например, со своими четырьмя классами прекрасно усваивал позднее сложные вопросы по устройству автомобилей, его электрической части, всяких сходов, развалов, требовавших уже более глубоких знаний. Он научился понимать принципы работы насосов, и паровоза, когда стал помощником машиниста узкоколейного паровичка. Еще позже он хорошо ориентировался в устройстве судов, когда ходил в Баренцевом море на маленьком тральщике. Но к самому процессу учебы в начальной школе его не заинтересовали, не разбудили природное любопытство. Сейчас, конечно, легко сказать: некому, некогда. А кто объяснит, как сочетались в России высокий интеллект ученых, начиная с Ломоносова, и кончая уже работавшим в то время Курчатовым, с примитивным крестьянским хозяйствованием? Так что определяет сознание: наука или быт? И кто манипулировал этими понятиями при строительстве социализма?

Что касается меня, деревенского мальчика от восьми до двенадцати лет, то школа была для меня медленной пыткой и только совесть перед семьей заставляла учить уроки. Почему я вспоминаю о совестливости? По одному случаю. Шли мы слякотной осенью в школу, и нас прихватил мелкий холодный осенний дождь. Мы как раз проходили по открытой пожне и, чтобы не промокнуть до нитки, забежали в сеновал – в единственное сухое место. Мелкий тихий дождь зарядил надолго и выходить из сеновала не хотелось. У кого-то из ребят оказались спички, мы развели прямо в сеновале небольшой костерок. Мимо пробежали наши же, деревенские девчонки, все мокрые, а нам не хотелось уходить от теплого костра. Решили в школу не ходить. Дурачились, пробовали курить мох, который выцарапывали из стен сеновала, и окончательно решили занятия пропустить. Дождались, когда девчонки возвращались с учебы, пригрозили им карами, если проболтаются дома о нашем прогуле. И конечно, уговорились сами хранить эту тайну.

К счастью или несчастью, но в этот день у нас был хороший обед (а может, мне так показалось), мама и Фаня заботливо подливали мне суп, подкладывали хлеб, участливо спрашивали, как я перенес плохую погоду. Мне было стыдно врать, и я признался, что в школе не был. Об этом стало известно всем родителям. Ребята меня долго потом ругали и укоряли предателем, что я продаст своих.

Каникулы, лето были для нас лучшей порой детства. В 12 лет я заработал в колхозе первые 31 трудовые деньги. Боря и Валя поощряли мои трудовые шаги, учили запрягать лошадь и управлять ею. Уверенно работал на лошадях – возил навоз и силос, боронил, правил лошадей при окучивании картошки. Конюхи и взрослые помогали только надевать на лошадь хомут и затягивать супонь. У меня для этих операций не хватало сил и роста. Только Витька Кузькин мог

похвастать более высокими показателями. Через год я расширил диапазон своих производственных занятий и заработал уже 64 трудодня. Запомнил эти цифры, потому что они были предметом моей гордости. Я этими цифрами хвастал перед своими ровесниками в Ленинграде. Те в большинстве своем понятия о трудодне не имели.

Деревня и школа

Трудоднями мы хвастали, как и положено передовикам социалистического соревнования, но в своем производственном умении никакой доблести не видели. Обычный сельский труд. В 5-м классе произошел неприятный, но памятный случай. Классным руководителем у нас была Александра Сергеевна, преподававшая русский язык и литературу. Женщина грубая. Это проявлялось в ее тяжелом взгляде, которым она обводила класс, в придыхании, с которым медленно произносила слова, когда ругала кого-то из учеников. Почему-то особенно невзлюбила нас с Володей Галкиным (моим одноклассником, которого кликали – Володька Зоин). По последним сведениям, он единственный, кто остался еще в живых из наших деревенских сверстников. В пятом классе все уже сидели за новыми светлыми партами с открывавшимися крышками, только нам с ним досталась высокая старая черная парта, оставшейся от старой, видимо, довоенной школы. Парта с неуклюжими габаритами, стояла последней в ряду, оправдывая свое назначение «Камчатки». Сидя за ней, мы возвышались над остальными. Правда, и сами всегда были на виду. Мы считали, что нас отсадили от других, чтобы меньше мешали. Мы были единственными в классе, не принятыми в пионеры. Такая дискриминация только прибавляла нам дерзости в шалостях. Мы были отпетыми. Перебивались с двойки на тройку. Другие ребята из нашей деревни, учившиеся в других классах, тоже не отличались примерной дисциплиной.

Александра Сергеевна готовилась в декретный отпуск и значительную часть своей работы в классе перепоручала практиканткам, прибывшим из вельского учительского училища. Этим молодым и неопытным девушкам она поручила провести в Филимоновке родительское собрание. Со слов классных руководительниц дисциплинированные девушки записали самые худые характеристики на нас, деревенских, и воспроизвели их на родительском собрании. Тут были упреки в пропуске занятий, в низкой успеваемости, баловстве, недисциплинированности и прочем. Мы, разумеется, пробрались в избу на это собрание и кто с печки, кто за спинами взрослых слушали ужасные характеристики. Девушки, не зная деревенских нравов, откровенно излагали резкие оценки учителей. Сами учителя, возможно, сбавили бы тон, оказавшись перед измотанными жизнью деревенскими женщинами, а эти юные создания, воображая себя полномочными наставницами, резали правду-матку.

Вот тут наши обычно спокойные и рассудительные бабы поднялись. Они стали ругать в свою очередь учителей, что те не знают, как живут их ученики, не уделяют им внимания. Они напомнили, что у поселковых детей родители получают деньги, на которые можно покупать книжки, одежду, обувь, чего нет у колхозников. Летом поселковых детей отправляют в пионерские лагеря, подкармливают за государственный счет, а деревенские в это время работают на полях вместе со взрослыми. Они зарабатывают нелегкие трудодни. Вердикт баб был суров. В пылу обид за нас они обвинили учителей, что те мало с нами занимаются.

Не знаю, как другим ребятам, а мне на собрании было стыдно, а за что, я не знал и сам. Я незаметно выскользнул за дверь. В школе Александра Сергеевна напустилась на нас с Володькой за ругань на собрании. Сказала, что если бы она была на собрании, то показала бы нашим родителям, как надо себя вести.

Учительница литературы Валентина Яковлевна

Может быть, я и не вспоминал бы о грубой Александре Сергеевне, как не помню других учителей, которые тоже не отличались ничем примечательным. Но у меня вдруг появилась возможность для сравнения двух учителей, двух подходов к ученикам и двух методик преподавания. Когда Александра Сергеевна ушла в декретный отпуск, к нам откуда-то приехала Валентина Яковлевна преподавать русский язык и литературу. Мне она показалась необыкновенно красивой. Высокая, поджатая, с красивыми светлыми волосами, ложившимися на плечи. Над лбом поднимался модный тогда кок с красивым завитком. Ее светло-синее платье как-то особ колыхалось, когда она шла по коридору. Руки над кистями охватывали широкие манжеты с множеством маленьких пуговиц. От нее пахло приятными духами, и мы замирали, когда она подходила к парте.

Еще мне понравилось, что, начиная, опрос учеников или просто разговор, она не заглядывала в журнал с оценками, а внимательно вглядывалась в каждого. Под таким доброжелательным взглядом невольно подтягиваешься, не хочется выглядеть тупым. Первый урок литературы она провела разбором повести Катаева «Белеет парус одинокий». Мы ее должны были прочитать еще летом. Случайно получилось так, что я его действительно прочитал, в то время, как не подумал брать в руки большую часть другой рекомендованной литературы. Учительница спросила, кто помнит, как Катаев описывает море? Никто руки не поднял. Я вообще никогда руки не поднимал на уроках – такая привычка сохранилась на все годы учебы. Взгляд Валентины Яковлевны остановился на мне: «Ты читал повесть?». «Читал». «Ну расскажи, что ты запомнил о море». Я косноязычно, но рассказал, как мог. Она спросила, видел ли я когда-нибудь море. Я помотал головой. «Я надеюсь, что ты когда-нибудь побываешь у моря и своими глазами увидишь то, что так хорошо запомнил по книге. Тем и хорошо чтение, ребята, что знакомит с неизвестной нам жизнью. Книга расширяет наш мир. Садись. Пятерка». Мне показалось, что весь класс удивленно уставился на меня.

Видимо, это была моя первая пятерка, тем более – по литературе и языку. Я был несказанно счастлив. Раньше я и подумать не мог, что учеба может доставить такую радость. Во мне что-то перевернулось. Я стал ловить каждое слово Валентины Яковлевны. И понял, что важно писать кратко, подбирать те слова, смысл которых хорошо понимаешь и твердо знаешь их написание, прямую речь стоит применять для убедительности и подчеркивания чужой мысли. Эти правила я использовал при изложении рассказа о том, как молодые французы участвовали в классовых демонстрациях. И опять получил пятерку. Теперь я уже читал и зубрил все, что требовала Валентина Яковлевна. В мае годовые контрольные начались с изложения. А у меня как назло разболелась нога. Перед экзаменом я всю ночь не сомкнул глаз от боли. Наутро с трудом поднялся с кровати, не мог стать на ногу. Папа, оказавшийся дома после ночной смены, привел с конюшни лошадь, вынес меня из избы и посадил на конягу. Я уговорил его не сопровождать меня на экзамен. У школы привязал к забору лошадь и знакомые ребята помогли дойти до класса. Температура искажала реальное восприятие того, что делалось кругом. Изложение написал, но на вычитку и проверку написанного ни сил, ни желания не хватило. Вернулся домой. На другой день ребята сказали, что у меня четверка по изложению. Это придало мне сил, боль в ноге притупилась и я сдал худо-бедно и другие экзамены, перешел в шестой класс.

О детском турде в колхозе

Болезнь перевернула всю мою жизнь.

Я уже говорил, что деревенские ребята шли по стопам своих родителей и одногодки между собой невольно соревновались, кто из них раньше освоит то или иное дело или забаву. К детским забавам относилось все, что не касалось работы – уметь плавать в речке, ходить в одиночку хотя бы в ближний лес или в соседнюю деревню, ловить на удочку «крупную» рыбу (начиная с плотвы и ельца), мастерить рогатки и луки со стрелами, а также пружки для ловли клестов и снегирей, кататься на лыжах с крутых горок, мастерить лыжные палки, свистульки, скворечники.

Рано начинали ребяташки помогать по дому. В мои обязанности входило, чтобы в ведре всегда была вода. Я начинал ее носить с речки сначала по полведра, потом поднимал нагрузку. Кстати, эта обязанность у нас переходила от старшего к младшему. В семейных преданиях упоминался такой случай. Как-то дядя Аркадий зашел к нам, а дома был один Боря. Дядя Аркадий попросил его дать воды. Боря посмотрел в ведро, а воды там не оказалось. Он вернулся к дяде и развел руками: «Нет воды». «Принеси с реки», – попросил дядя. «Мне тяжело ведро нести», – оправдывался Боря. «Тогда пойдешь к Пелиным, возьми у них». Боря взял ковшик и пошел к соседям. Принес полковшика и не успел дядя попить, как прибежал соседский мальчик Ванька и закричал на Бору: «Отдай нашу воду, у нас и так последняя».

Среди других моих обязанностей, приучавших к общему труду, была чистка зимой запотелого стекла керосиновой лампы. Летом должен был следить за огородом, чтобы в него не пробирались куры или козы. Летом пастух выводил стадо коров из леса и колхозных загонял сразу в скотный двор, а частные буренки оставались на околице или берегу, пока их не разберут хозяева. Редкие коровы сами подходили к своему дому, ждали, когда за ними придут. Наша Манька не была исключением, всегда ждала приглашения. Летом Фаня тащила меня по ягоды. Вечером на ужин на столе должна стоять кринка молока и блюдо земляники, черники или малины по мере их поспевания. Этими скудными витаминами мы должны были насытиться на весь год. Где там? Всем нам не хватало ни витаминов, ни микроэлементов и росли мы чахлыми, бледными. У меня даже кличка была – пятнай. Это из-за того, что у меня часто шелушилась кожа на лице из-за недостатка каких-то витаминов или микроэлементов.

В дела колхозные мы втягивались рано. Фаня брала меня с собой, чтобы я помогал ей пропалывать грядки на колхозном овощном поле, собирать колоски после уборки хлеба. Но самым интересным, конечно, была работа на лошадях. Я уже говорил об этом выше, но не упомянул, что лошади таят в себе и опасность для подростков. Не так легко усидеть на коне, если ноги короткие и ты не можешь обхватить конягу, чтобы удержаться при быстрой езде. А проскатать перед ребятами каждому хочется. Приходилось падать и с запряженной лошади. Когда в наших местах появилось много автомашин, не все лошади, привыкшие к сельской тиши, восприняли их спокойно. Мы знали наперечет, какие из них при встрече машины начинают дрожать, метаться и становятся неуправляемыми. Среди этих нервных был конь по имени Партизан. Он вообще был своевольным меринком и тем оправдывал свое имя. Однажды случилось так, что я сидел на его крупе, вез нагруженную навозом телегу в поле. Только выехал из деревни, поднялся на гору и в узком месте, где с двух сторон дорогу теснили крепкие изгороди, навстречу мне вылетел военный «форд», хлопая на ветру брезентовым верхом. Я прижал дрожащего и фыркающего Партизана к изгороди, пока грузовик не проскочил мимо.

Будь я поопытнее, я подождал бы, пока лошадь не успокоится. А я хлестнул Партизана, чтобы он быстрее проехал узкий участок дороги. Но у Партизана было свое на уме: он вдруг развернулся и во весь свой лошадиный дух пустился под гору. При этом свернул с дороги на пустырь с очень крутым спуском. Он летел вниз как бешеный. Я, видимо, боялся прыгать

с лошади, ухватился за дугу, но не удержался и каким-то образом оказался в телеге, уже пустой от рассыпавшегося в тряске навоза. Но это лучше, чем оказаться под колесом. Покувыркался я на грязной телеге и оказался на земле. Увидел только, как Партизан сломя голову летел вниз. Одно колесо наскочило на камень-валун и железная шина его разорвавшись, взмыла вверх. За ней одна за другой разлетелись по сторонам спицы колеса, доски. Колесная ось оторвалась от корпуса телеги и Партизан летел уже в одних оглоблях – от телеги осталась только рама. Конь летел к скотному двору и тащил только оглобли. Конюхи первые увидели разъяренную лошадь, тащившую то, что осталось от телеги. Когда я прибежал к двору, Партизан был уже освобожден от оглобель, привязан к стене и продолжал вздрагивать и фыркать, разбрызгивать пот. Конюхи внимательно разглядывали меня, расспрашивали, не ушибся ли. Я отделался синяками. Дня два бригадир не давал мне наряда, боялись за здоровье.

Несчастный случай

Но не этот случай стал для меня роковым. Летом занятых в работе лошадей выгоняли в лес, чтобы они могли за ночь подкормиться. А утром один из конюхов и обычно двое из нас, пацанов, шли в лес на их поиски. Тот раз нас с Витей Кузькиным вел конюх Коля Николаишков. Мы же сами с вечера отогнали коней на пастьбу и знали, в какой стороне их искать. На некоторых бойких лошадях всегда болтались колокольцы, помогавшие при тихой погоде услышать их в лесу за 300—400 метров. Часто табун уходил довольно далеко и набегаешься, пока его найдешь по следам. А когда найдешь, надо еще поймать каждому по лошади, чтобы выгонять стадо в деревню. Для всего этого существовали свои проверенные приемы. Лошадям, естественно, не хочется уходить с отдыха, от корма, чтобы оказаться запряженными в надоевшую им работу. Сбиваясь в табун, они стремятся углубиться в чащу.

В тот жаркий июльский день пришлось искать табун особенно долго. Лошади успели довольно далеко отойти от деревни. Пока мы их нашли, да поймали для себя трех лошадей, чтобы не бегать за упрямой скотиной, солнце поднялось довольно высоко. День заводился жарким и на открытых местах слепни тучами жужжали и жаждали крови. Спасение от них было только в тенистых зарослях, куда и стремились наши умные лошадки, не обращая внимания на наши окрики и попытки направить их в сторону деревни. Шумим, материмся – ничего не помогает, лошади мечутся, разбегаются в разные стороны. Их надо сбить в плотный табун, одному из нас вести его в голове в сторону деревни, а двоим другим – подгонять сзади.

Мы выломали по крепкому ивовому суку, очистили от листвы, чтобы охаживать упрямых лошадей, требовать послушания. Удалось сбить их в группу на пожне, но табун никак не хотел направляться в сторону деревни. Тогда мы с Витькой по сигналу выскакиваем на своих лошадях из леса в гущу группы, орем, размахиваем прутьями, чтобы гнать, куда следует. Когда я влетал в табун, одна молодая кобылка, защищаясь, резко подняв зад, ударила задними ногами в мою налетевшую лошадь. Одно копыто ее пришлось на грудь моей лошади, а второе – мне в левое колено. Хоть и не подкованные копыта, но боль я почувствовал редкую. На лошади усидел, но мог только лежать на крупе, одной рукой держась за колено, другой – за гриву. Светлый солнечный день в моих глазах вдруг заметно потускнел и хотелось только одного, чтобы быстрее стихла боль под моей коленной чашечкой.

Все же коней пригнали во двор, получили взбучку от председателя за опоздание и все пошло своим чередом. Я немного прихрамывал, но нога сгибалась и в моей жизни вроде ничего не изменилось. Продолжал работать.

Но ночами нога стала побаливать, ныло колено, по утрам вставал вялым. Папа и мама заставили пойти в поселковую больницу, которая была простым медицинским пунктом с одним врачом и двумя медсестрами. Там посмотрели, посоветовали согреть на ночь и я, ничего не предпринимая, продолжал свою обычную жизнь. Но ночные боли участились. Тогда в медпункте дали направление на рентген в больнице узловой железнодорожной станции Кулой. Поехали мы с папой туда на поезде, но поселок Кулой сидел в тот день без света и рентгеновский аппарат не работал. Папа по своей наивности повел меня в палату больницы, где умирала женщина из нашей деревни. Я посмотрел на эту изможденную уже не похожую на себя женщину, послушал ее угасающий голос и насмерть напугался больницы. Я почти год старался, как мог, скрывать боль в ноге, только бы не попасть в больницу. Но весной 1951 годы уже скрывать не мог, боль не отступала иногда сутками, хромал все больше и тогда-то вынужден был ехать на экзамен по литературе на лошади. Медпункт к тому времени уже стал маленькой больницей с тремя палатами и кабинетами для приема больных. Там мне дали направление в город Котлас на рентген и обследование.

Глава VI: Санаторий

Туберкулез кости

Поездка с папой в Котлас была грустной. Я впервые оказался в городе, который мне тогда показался большим и многолюдным. На самом деле это был деревянный грязный городишко, где на каждом углу стояло или сидело на земле множество калек – слепых, безногих, безруких, изуродованных на лицо. Они привычно равнодушно или сердито и с вызовом просили милостыню, а если им не подавали, то иногда покроют и матом. На меня взглянуло лицо войны, которая завершилась всего шесть лет назад. Лицо ужасное, пугающее. Это были искалеченные на войне мужики. Много раз в последующие годы и ныне мне видится, что в их поведении отражалось не жалость к себе, не христианская покорность судьбе или всевышнему, а злость, с которой, возможно, многие из них шли на врага и уродство засебло этот миг, а отчаяние и презрение к смерти перенесли на их оставшиеся дни и годы. Злое отчаяние и презрение к смерти.

На ночь старый деревянный железнодорожный вокзал не вмещал всех скитальцев и мы с папой пошли на речной вокзал. В его ресторане мы просидели за скромным ужином до закрытия, а потом коротали светлую, но отнюдь не теплую летнюю ночь на открытой площадке около вокзала. Мне понравилась широкая Северная Двина, по которой время от времени проходили пароходы с дымящими трубами. Мы с папой примостились около стенки, закрывавшей нас от холодного ветерка с реки. Задремали.

Ночью я услышал страшные крики, мат и визг женщин. Пьяные калеки лупили друг друга чем попадя: костылями, клюшками, пустыми бутылками. Страшные даже в трезвом виде, они были звероподобными, когда дрались между собой с искаженными ненавистью нечеловеческими личинами. Это был не сон. Но во сне эта картина не раз возвращалась ко мне позднее, когда я засыпал в тревожном ожидании чего-то не ясного и страшного. Так заканчивались дни и ночи миллионов мужиков, вернувшихся с войны. Об этой же ночи я вспоминал, когда смотрел на картины немецкого художника Босха.

Днем продолжились мои страхи, когда женщина—врач буднично и устало сообщила, что у меня туберкулез кости и лечить его придется, видимо, не один год. Такой срок у меня не укладывался в голове и пугал неизвестностью. Врач все тем же монотонным голосом сказала, что сейчас мне наложат на ногу гипс, который мы не должны снимать и в нем отправляться в Ленинград, когда получим вызов на лечение в детский костно-туберкулезный санаторий. Папа взвалил меня на спину и понес на вокзал. Когда через вокзальный медпункт нам выдали билет, папа до отправки поезда пошел купить мне пирожков и за одно выпил в забегаловке, которых было в те годы немало. Я это почувствовал по запаху, по его суетливому поведению и навязчивой обо мне заботе. Я погрузился в свою беду и не реагировал на жалостливую папину заботу обо мне.

На второй день началась для меня новая жизнь. Отыскали на повети папины костыли, подрегулировали под мой рост и я уже не обходился без них. На ногу не наступал, боясь повредить ей. Лето проводил в одиночестве. В этот год Валя и Боря служили в армии – первый в демократической Германии, второй в Польше. Фаня работала в колхозе – куда бригадир пошлет. Мама на скотном дворе ухаживала за овцами, которых колхоз содержал по заданию властей, чтобы давать стране мясо и шерсть в виде налога. Для колхозников от них никакой выгоды не было.

Я вспоминал о минувших двух годах, как о счастливых и безоблачных. Я же работал, получал трудовни, мог похвастать перед однокашниками своей ловкостью и умением. Все уве-

реннее чувствовал себя во взрослых делах, потому что там требовалась только физическая выносливость и сноровка. А тут вдруг оказался беспомощным и никому не нужным. На костылях, которых я стыдился.

Особенно остро почувствовал свою ущербность 1 сентября, когда ровесники отправлялись в школу, а я вышел в деревню на костылях и провожал их, взволнованных и приодетых, в школу. Я тоже купил учебники для шестого класса. Через неделю пришла руководительница класса, в который я был зачислен, и предложила самостоятельно изучать по учебникам то, что ребята проходили в школе. Трое ребят из деревни учились в этом классе. Признаюсь, я был совершенно не приспособлен к самостоятельным занятиям. Терялся от непонимания того, что вычитывал в учебниках, злился и чувствовал себя совершенно потерянным. Да и как представить мир Египта или Древней Греции, какой он существовал несколько тысяч лет назад, если я не представлял даже современной мне жизни в крупном городе? Учебники для советских школ, я и сейчас убежден в этом, писались без учета психологии ученика, его кругозора и общего понимания мира, его истории. Слово «отчаяние» в этом возрасте еще не воспринимается. Я просто считал себя тупицей. И каждый день ждал почтальона с вызовом в Ленинград. Я понимал, что моя жизнь зависит от этого выезда. Иногда пугался мысли, что могу так и остаться на всю жизнь калекой, которому в деревне нет даже подходящего дела. Выезд в Ленинград был соломинкой для утопающего.

Ленинград

Вызов пришел в конце октября 1951 года. А в первые дни ноября мы с папой выехали в Ленинград. У нас уже начинались холода. Ни пальто, ни даже приличной фуфайки у меня не было. Натянул свой пиджачок, на него – второй, оставшийся от Бори или Вали и снарядились в путь. Два дня потратили на обследование в большой старой поликлинике на улице Боровой и получили направление в детский костно-туберкулезный санаторий при железнодорожной больнице имени Дзержинского, что находилась на проспекте Мечникова не далеко от Пискаревского кладбища, которое стало печально знаменитой достопримечательностью послевоенного Питера. Утром, перед выездом в санаторий мне было особенно тяжело. Я оставался один в незнакомом чужом городе, не представляя сколько времени мне предстоит жить в нем. По сути, это было мое прощание с детством. Что-то подсказывало мне, что деревенская жизнь с ее вековым укладом кончилась и я попадаю в новую совершенно незнакомую мне стихию. Из окна нашей гостиничной комнаты была видна слепая стена высоченного этажей в шесть грязно кирпичного дома. Она и олицетворяла мое ближайшее будущее.

Санаторий занимал левое крыло второго этажа больницы. Мы грустно расстались с папой. Честно говоря, не помню, плакал я в эти минуты или нет, а папино волнение, от которого у него всегда дрожал голос, запомнил. Наверно, я уже начинал потихоньку владеть собой. В трудные минуты я и сейчас особо не теряюсь, а вот суетиться по мелочам так и не отвык. Меня переодели в больничную пижаму и ввели в широкий коридор, оказавшийся шумным, потому что некоторые двери палат были открыты и из них доносились не жалкие стоны больных, а детские крики, смех и даже песенки, музыка. У стола дежурной медсестры записали мои данные. Улыбающаяся ласковая медсестра доброжелательно меня расспрашивала, откуда я прибыл, в каком классе учился, кто у меня из родных на севере.

Первое знакомство с детьми

Тут же оказались любопытные ребята – кто на костылях, кто в жестком корсете, подерживавшим позвоночник, шею. В глазах их было неподдельное любопытство и озорство в вопросах, которыми они забрасывали меня. Их явно веселил мой северный деревенский говор. Медсестры и нянечки тоже подходили на минутку посмотреть на новичка, улыбались, старались похлопать по плечу. Видно, вид у меня в тот момент был довольно жалок. Меня старались разговорить, смелее рассказывать о себе, а я от этого еще больше терялся.

Какой-то мальчишечка хитровато спросил меня:

– Как сделать пять ошибок в слове из трех букв?

Я пожал плечами. Он подсказал под дружный смех окружавшей ребятни:

– Вместо слова «еще» написать «истчо».

Второй знаток его поправил:

– Истцо.

Третий добавил:

– Ишшо.

Это и были мои ошибки, которые тут же заметили сметливые обитатели санатория. Я застеснялся, стушевался. Медсестра приструнила ребят, обняла меня за плечи и отвела в небольшую палату для трех кроватей, где предстояло пережить карантин. Ребятишки мордашки постоянно заглядывали в дверь. Не так много бывает событий в этих стенах, чтобы не заинтересоваться новеньким. А молодой народ здесь был чрезвычайно любопытным.

На второй день на пустующую кровать в палате привезли мальчика после операции. Распахнулась дверь, врач Галина Васильевна и медсестра Зоя молча ввели каталку, без слов бережно переложили с нее на кровать маленькое бледное существо и также молча вышли. Если бы я был поопытнее, я бы понял, что за этими молчаливыми действиями стоит их плохое настроение. Когда операция проходит удачно и нет беспокойства за больного, вышедшие из операционной люди в марлевых масках разговаривают громко, шутят. Я с опаской разглядывал прибывшего соседа. В ритме не слышимого дыхания мальчик тихо и тонко постанывал. Дежурная медсестра время от времени заглядывала в дверь. Потом велела мне нажимать на кнопку у моей кровати, если мальчик заплачет. Часа через два он застонал громче, запросил пить. Я нажал кнопку и сестра вошла в палату с небольшим подносом, на которой стояла банка с водой или прозрачным раствором и небольшие комочки ваты. Она накручивала на пинцет вату, обмакивала в банку и осторожно смазывала мальчику губы. Мой маленький сосед хватал ртом мокрый тампон и продолжал просить пить. Сестра ласково уговаривала его:

– Вовочка, Вовочка, только капельку можно, не больше. Не сердись, потом попьешь вдоволь. Я тебе сок приготовлю. Ты ведь любишь сок.

Но Вовочка стонал и продолжал просить воды.

Ночь прошла беспокойно. Вова стонал, всхлипывал и я боялся, как бы он не умер. Но приходили в палату медсестра или врач и я успокаивался, дремал, чтобы вскочить в очередной раз при жалобных всхлипах Вовы.

Кодекс чести

На второй день Вова, к моему удивлению, выглядел почти бодро, вступал в разговор, правда, постоянно останавливался и морщился от боли. Ему делали уколы и это, видимо, помогало ему приходиться в себя.

А разговор его меня удивил.

– Я после операции кричал? – настороженно спросил он.

– Нет.

– Ревел?

– Нет.

– Ты не врешь?

– Ты немножко стонал. Я думал, ты так дышишь.

– Это не в счет... Тут кричать от боли нельзя... Ребята потом засмеют.

Так я узнал о первом правиле чести в детском санатории. Надо достойно переносить боль. Позднее я мог убедиться, как потерял свой авторитет у «однопалатников» парень лет пятнадцати. Он был рослым и сильным для своих лет и вел себя с ребятами с некоторым чувством превосходства, видимо, выработанным в среде своих уличных ровесников. Но вот его привезли после операции, перестал действовать наркоз, и он завопил:

– Помогите... Нога болит. Не могу больше, болит... Дайте порошок, сделайте укол. Не могу.

И верхом всякой грубости стало то, что парень выбил из рук медсестры чайную ложечку, которую та подносили к его рту. Каждый из нас знал, что пить сразу после операции нельзя. Надо терпеть. После этого случая парня не то, чтобы перестали уважать, с ним просто перестали считаться.

Но я отвлекся от первого разговора с соседом по палате. Выяснив, что он достойно вел себя после операции, Вова, успокоенный (насколько позволяло самочувствие), завел светский разговор.

– Давай познакомимся. Меня зовут Вовка. Самсонов. Я – в третьем классе. Лежу два года. О тебе в нашей палате рассказывали. Ты только что поступил в санаторий. Тебя зовут Игорь и ты приехал с Севера. Так?

– Так.

– Ты загадки любишь? Отгадай, что делал слон, когда пришел Наполеон? Не знаешь? Сдаешься? На поле слон делал то, что делают все животные на поле. Догадался?

Вовка Самсонов, несмотря на боль, рассказал мне о порядках в санатории, о том, как ребята любят побаловаться втихаря и не любят ябед, назвал, кто самый строгий из персонала, какими словами здесь заведено называть неприличные понятия (вроде того, как просить судно, называть малую и большую нужду и прочее. Здесь существовал специфический жаргон, снижавший стеснительность. Словом, Вовка вводил меня в новый мир, в котором мне предстояло жить три с половиной года. Я удивлялся широкому кругозору десятилетнего мальчика с тельцем семилетнего и сознавал свою ограниченность в познаниях, в жизненном опыте.

А в дальнейшем на истории этого мальчика я мог убедиться и в жестоком проявлении жизни и смерти. Тех проявлений, которые так или иначе формировали наше восприятие окружающей нас действительности и наш характер, а в конце концов и дальнейший образ существования.



Игорь Галкин в санатории в Ленинграде, 1957 год

Привыкание к санаторию

К моему поступлению в санаторий, по его коридорам только один мальчик ходил на костылях с ампутированной ногой. Он будил во мне тревожные мысли. Но когда я уже попал в общую палату с моими одноклассниками, то ребята меня успокоили. Больше в санатории не ампутируют ног, а стараются или совсем вылечить суставы или сделать их неподвижными и тогда очаг туберкулезного заражения ликвидируется и никогда не возникает снова. Это меня немного успокоило. Но ребята открыли мне возможность других неприятных перспектив, от которых никто из нас не был застрахован. Проклятая туберкулезная палочка Коха иногда пробирается в почки и даже в мозг (менингит). В затемненном коридорчике между палатами молчаливо лежал парнишка по имени Валя, исхудалый и желтый. Только старшие ребята иногда приходили к нему поговорить, если он чувствовал силы для этого. В палатах старшие ребята (шестого-седьмого класса) спокойно рассуждали, когда этот парнишка может умереть. Это считалось логическим концом и только мне, не привыкшему, было жутковато слушать такие разговоры. Месяца через два после непонятной суматохи в том затемненном коридорчике вдруг все стихло и ходячие ребята сообщили, что кровать парня пуста.

– Значит, унесли под «кумполом», – задумчиво и спокойно сказал один из мальчишек.

Кумполом называлась здесь небольшая часовенка у больничных ворот. Часовенка с небольшим желтым куполом, видимо, возникла при строительстве больницы для отпевания умерших. В наше атеистическое время стала моргом. Мальчишки называли это мрачное строение «кумполом», в котором отразилось не столько понятие церковного купола, сколько кумпол, подразумевавший мозг под черепом.

– Теперь чья очередь? – вопросом продолжил разговор второй.

А среди нас оказался мой первый знакомый Вовка Самсонов. И кто-то из ребяташек совершенно недопустимо пошутил:

– Наверно, Вовкина.

К моему удивлению, Вовка не обиделся.

– Мне бы только книгу о Степане Разине дочитать.

Он в эти дни читал толстый роман Злобина «Степан Разин» и мы видели, как его тонким ручонкам трудно удерживать на весу эту книгу в твердом переплете. Так и получилось, что эта книга оказалась последней для третьеклассника Вовки Самсонова. Опять ночь, тревожный переполох и утром мы догадались, что Вовки не стало. Так мы приобщались к вопросам жизни и смерти. Приобщались не по возрасту рано и жестоко для наших неокрепших душ.

Школа в санатории

Но как ни странно, в моей памяти это необыкновенное заведение – костно-туберкулезный санаторий – врезался прежде всего жизнерадостными картинками, школьными занятиями и очень содержательными буднями.

В санатории существовала семилетняя школа. Руководила ею Дора Марковна. Кроме ее дочери, преподававшей английский язык, невестки, дававшей нам некоторые знания по истории, и внучки, считавшейся пионервожатой, там были замечательная преподаватель по русскому языку и литературе Зинаида Александровна, математик Ольга Николаевна, страшно переживавшая за наше не совсем почтительное внимание к ее предмету. Были еще двое учителей для младших классов, которые вели малышей с первого по четвертый класс.

Опытные учителя легко распознали, что за шестой класс я не тяну и мягко предложили мне повторить пятый. Я потерял еще один год по сравнению со сверстниками. Это меня страшно угнетало, будто признали неполноценным, но скоро я втянулся в учебу, и при помощи хороших учителей почувствовал вкус к наукам. И это мне компенсировало в дальнейших занятиях. То, что в сельской школе мне казалось ненужной зубрежкой, здесь открывалось с какой-то увлекательной стороны.

Случилось так, что сразу семеро нас закончили семилетку, но лечение еще не было закончено. И Дора Марковна прикрепил нас к одной из ближайших заочно-вечерних школ рабочей молодежи. Оттуда приходили к нам учителя, с любопытством знакомились с лежащими учениками, беспомощными физически, но полными желания учиться. Восьмой класс я закончил заочно. Для меня это был самый увлекательный год. Я почувствовал вкус к учебе, к познанию, ощутил свою способность самостоятельно постигать науку, чего никогда не испытывал ранее. Я поверил в свои силы и испытывал большое удовольствие от самостоятельной учебы. И когда выписался из больницы, вернулся в свою школу в поселке, то мог убедиться, что мои самостоятельные занятия были плодотворнее уроков, подававшихся в девятом классе. Я потерял годы, но обрел уверенность. И за это благодарен санаторию.

Не только за это.

Культура Ленинграда

Я прикоснулся к культуре Ленинграда.

Только моя скромность и прирожденное любопытство не дали мне замкнуться от некоторых насмешек городских ребят, не позволили мне отгораживаться от всего, что я видел и слышал, а пытаться влиться в новую атмосферу.

Итак, я потерял еще один год на своем школьном пути. Но приобрел нечто гораздо более важное. Во-первых, меня, хоть и не без потерь (колено все-таки пришлось сделать неподвижным) вылечили, а школьную подготовку и общее развитие я получил такое, какого не мог получить, оставаясь в деревне. Брат Борис, как-то в разговоре меня прямо спросил:

– Ты ведь в Ленинграде больше получил, чем потерял.

– Конечно, – со всей откровенностью ответил я. Я, конечно, замечал, что мои родные как бы чувствовали свою вину, что не уберегли от болезни и мое новое состояние, привезенное из Ленинграда, служило некоторым оправданием прошлому.

Я и сам не раз задавался вопросом о том, какую роль сыграла моя болезнь, ленинградский санаторий, новое окружение, совершенно не похожее на то, чем я жил 14 лет. Как не покажется странным, но три с половиной года, проведенные в четырех стенах, жизнь в постели, общение с одними и теми же людьми, не менявшийся более тысячи дней заведенный и не менявшийся распорядок из месяца в месяц, передо мной открыли бесконечный мир. Распорядок не менялся, окружавшие лица за небольшими исключениями – тоже, а я менялся. Менялся и внешне (все-таки подрастал, хотя и не мог измерять этого, потому что более трех лет не стоял вертикально), и внутренне (впитал в свою память, сознание, привычки и представления так много, как не могли этого сделать мои сверстники, остававшиеся в деревне). Меня прекрасно учили, и скажу без хвастовства, что я учился хотя и не всегда с большим рвением, но безусловно, с сознанием необходимости этой учебы.

Здесь взрослые говорили не о погоде, ни об урожае в колхозе или собственном огороде, ни о скотине, которую все в деревне знали наперечет в каждом дворе, ни о ссорах и дразгах соседей между собой – то все в моей новой жизни казалось мелким, ничемным. Окружавшие меня люди – врачи, сестрички, нянечки, учителя и воспитатели ввели меня в новый мир – необычный, интересный, объемный. Я и сейчас помню до мелочей разговоры врачей и сестер во время неприятной мне процедуры накладывания гипса от пальцев левой ноги до середины грудной клетки. Я ежился от прикосновения тяжелых мокрых бинтов, пропитанных гипсом, стыдился своей наготы в окружении женщин, но одновременно прислушивался к их разговорам.

А разговоры были о недавно пережитой блокаде, о страшных картинах голодомора и нечеловеческих страданиях. Помню, как врачи и сестрички сочувствовали при этом немногочисленным ленинградским мужчинам, которые, по их убеждению, были менее приспособлены к выживанию в тех условиях. Врачи – заведующая отделением Фаина Михайловна и второй лечащий врач Галина Васильевна на этом примере показывали молодым медсестрам, что природа наградила женщин более жизнестойкими качествами ради продолжения рода.

В другой раз помню их разговор о науке и религии. Галина Васильевна рассказывала молодым собеседницам о религиозности великого ученого Ивана Павлова (ходил церковь во все воскресенья и религиозные праздники, набожно крестился на церковные кресты и никого не стыдился, ни перед кем не оправдывался).

А один разговор Фаины Михайловны и Галины Васильевны касался науки и бога. Как о чем-то бесспорном они говорили, что чем больше изучают человеческий организм, тем больше убеждаются, что кроме особой силы никто не мог бы столь мудро и рационально продумать и устроить организма человека вплоть до каждой его клетки.

На уроках мы, естественно, таких мыслей не могли слышать.

В те годы я начал понимать особую ленинградскую культуру. Без назиданий, без громких слов нас вводили в сложный современный мир, учили с пониманием относиться к окружающим, ценить то, чем мы пользовались, уважать нелегкую жизнь старших, быть скромными в своих потребностях. Там получил я первые уроки вежливости, поведения в обществе. Признаюсь, что и в нынешние годы на восьмом десятке меня коробит невоспитанность большинства русских людей в этом отношении. У ленинградцев понимание бытовой культуры не противоречило тому, что мы должны были усваивать по школьным программам, с их выпяченными лозунгами о великой пролетарской революции, о пламенных революционерах и вождях, о решающей роли нашей страны в истории человечества. Для нас были святы имена героев Гражданской и Отечественной войн. Но одновременно восхищали и окружавшие нас люди, участники истории, остававшиеся скромными и незаметными в послевоенной жизни.

Прививавшееся нам уважение к истории, наукам, к авторитетам позднее облегчало и пересмотр вновь открывавшихся темных сторон минувших десятилетий. Я читал стихи и пел песни о Ленине, Сталине и родной партии, но в то же время возбужденная во мне любознательность требовала расширения познаний. И когда в средней школе я начал узнавать сведения о культе Сталина, любознательность, стремление к истине оказались сильнее прежних стереотипов. Более того, возникала злость, что нас так здорово всех дурачили. Мне до сих пор не очень понятна психология многих не только ограниченных, но и интеллигентных людей, которые десятилетиями повторяют как заклинание: «Мы с именем Ленина строили социализм!» «Мы с именем Сталина шли на бой!» Сейчас-то уж пора бы осознать, что жили не во имя Ленина и Сталина (даже во имя Бога живут только исступленные монахи), а жили во имя лучшей своей жизни, будто бы указанной вождями с незамутненной репутацией. Время показало, что и вожди не были святыми, и указания их – небезупречны. Верили, рассчитывая на лучшее, погибали на войнах – не их вина, а то, что выстояли, сохранили страну, за это каждому зачтется. И тем обиднее, что тупые и самонадеянные люди довели великую страну до ее разложения, в мирное время разрушили экономику и социально-политический ее уклад хуже, чем в отечественную войну. Но об этом, надеюсь, у меня еще будут поводы поговорить дальше.

Чтение

Я опять забегаю вперед. А мне предстояло еще прожить более трех нелегких лет. Повторение пятого класса было для меня, как ни странно, благотворным. Я легко шел в учебе и получил громадную возможность расширить свой понятийный аппарат. Естественные науки шли легко и я развивал логическое мышление, начал усваивать математические и физические связи явлений. Чтение дополнительной литературы восстановило в моей не очень забитой голове исторические связи времен.

В санатории была великолепная библиотека. В коридорах стояли громоздкие шкафы со стеклянными дверцами, за которыми виднелись корешки великолепных дореволюционных изданий и отличавшиеся от них разношерстные обложки последних книг, в основном, отмеченных сталинскими премиями. Значительную часть произведений классиков – Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гончарова, Островского, Толстого, Чехова я прочитал в старых изданиях. Я настолько привык к букве «ять», что она стала для меня знаком прошедшей эпохи с ее особым стилем, характером мышления, забывавшейся культурой.

Я с великим удовольствием читал веселые повести Помяловского, Марка Твена, английских остроумцев, умевших видеть в обыденной жизни веселые стороны. При этом я еще больше возненавидел монотонные повествования новых советских классиков, вроде Федора Гладкова с его «Повестью о детстве», лишённые живой жизненной искры. Тогда же я начал различать ложь в книжной жизни. Пятый класс у нас вела учительница в одной палате со второклассниками. Как-то она читала вслух первоклашкам назидательный рассказ о пользе книг. Говорилось в том рассказе, как двое деревенских мальчиков и двое городских девочек пошли в лес по грибы и деревенские набрали поганок, а городские девочки, читавшие о грабах в книжках, набрали только хороших грибов. Следовала мораль: читайте книжки и из них узнаете много полезного. Меня рассказ возмутил. По своему опыту я знал, что деревенские всегда лучше разбирались в такого рода делах, и перестал верить книжкам на слово. Критический взгляд никогда не вредит. Другое дело, что для этого нужно много знать и обладать чувством самокритики.

Работа школы в санатории

Учебный процесс у нас проходил по раз и навсегда заведенному порядку. Утром нас будили, чтобы сунуть каждому под мышку градусник, а кому надо – сделать укол. Проходили санитарные процедуры, умывались, чистили зубы, завтракали. Кормили нас лучше, чем в обычных больницах, поскольку хорошее сбалансированное питание входило составной частью в лечебный процесс. Мы все были истощены от недоедания, организм слабо боролся с болезнями и детский костный туберкулез был распространен после войны отчасти по этой же причине. Недаром через пятнадцать лет после моего выхода из санатория, наше лечебное учреждение было перепрофилировано. Костный туберкулез постепенно уходил из жизни, зато усилились заболевания церебральным параличом. Когда я через эти пятнадцать лет последний раз навестил санаторий, мой лечащий врач Галина Васильева, сказала:

– С вами было легко работать – вы же были здоровыми. Ну и что, что кости болели, у вас психика была здорова, вы тянулись к учебе, жили полноценной жизнью. С нынешними ребятами очень трудно. Учиться не хотят, лечебный режим не соблюдают. Старые учителя почти все ушли, новые не хотят работать с нашими учениками. Даже общий язык не с каждым найдешь. Школу грозятся закрыть. Не знаю, как дотянуть до пенсии.

Но это будет потом. А пока я привыкал к своей доле. Особенно трудно было в первые месяцы. Врачи еще надеялись спасти мою ногу в целости и гипс накладывали только до паха. Я мог сидеть, но вставать на ноги категорически запрещалось. Четыре месяца подряд мне делали какие-то уколы – по три раза в день. Сам удивлялся, как безропотно можно было это выносить. Учился терпению. Тосковал по дому. А дома оставались только папа, мама и Фаина. Я начал активную переписку с ними, а также Валея, который служил в танковой части в Восточной Германии и с Борей, которого служба забросила в Польшу.

Вспоминал, что могли делать в ту и другую пору времени мои деревенские приятели. Когда я ребятам – соседям по палате пытался рассказывать, как это здорово гонять на лошадях, купать их, ухаживать за жеребятами, они не проявляли к этому никакого интереса. Все они съехались в Ленинград из разных городов, городков и поселков, где их родители работали на железной дороге и не были связаны с деревней. Ведь наша больница имени Дзержинского относилась к железнодорожному ведомству.

Каждая палата с утра до обеда становилась учебным классом. С утра по коридору раздавался грохот кроватных колес – нас свозили по классам. Кровати громыхали, потому что были старыми, с металлическими колесами. Только позднее их заменили на более легкие высокие кровати с барьерами по бокам и с колесами на резиновых шинах. На тех кроватях мы уже могли разъезжать по палате без помощи нянечек, более тесно общаться друг с другом – поиграть в шашки или шахматы, поучиться друг у друга игре на мандолине (прекрасный душевный инструмент).

Итак, мы съезжались по классам. Учителя ставили на середину классную доску. Мы брали в руки фанерные дощечки, заточенные карандаши, раскрывали тетради. Если нужно было что-то изобразить на доске, ученик диктовал это учителю и тот писал продиктованное, чтобы все видели. Если допускалась ошибка, «с места» поднимались руки и учитель вносил предложенные поправки. Обсуждения, как правило, проходили активно, учителя умело подогревали коллективный интерес. При таком обсуждении не осуждалась, наоборот – ценилась вовремя подброшенная шутка, острое словцо. Нам нравились учителя, умевшие несколько отвлечься от узкой темы, чтобы подкрепить свои аргументы неожиданными примерами, экскурсами в другие науки. Вспоминается пожилая тихая учительница по физике, которая при объяснении процессов давления в жидкой и воздушной среде нас спросила:

– Ребята, а вы знаете, почему во время атаки солдаты кричат «Ура»?

Мы пожимали плечами и говорили, что это клич не трусить и храбро бросаться на врага. «Физичка» тихо улыбалась и объяснила, что во время взрывов и пушечных выстрелов воздушные волны чрезмерно давят на ушные перепонки и чтобы они не лопнули, солдаты кричат «ура», для этого раскрывают рты и внешнее давление воздуха снижается. Мы немножко похихикали над физическим законом, он до обидного снижал наш патриотический пафос. Но в то же время примеру не откажешь в сермяжной правде. В другой раз учительница физики сокрушенно сообщила, что окончательного объяснения о природе электричества еще не найдено. Привела две версии: первая – это движение электронов от источника его генерирования к потребителю, вторая – это электрическое поле, возникающее от хаотического движения электронов. Мы спросили преподавателя, а как она сама считает? Скромно потупившись, она сказала, что на этот счет у нее есть собственное мнение. Мы, конечно, тут же стали упрашивать ее высказать его. Она пояснила, что возможен и такой электрический эффект, как в игре в бильярд. Если шары поставить в один ряд, то при ударе в последний шар отскочит только первый, а остальные лишь вздрогнут. Нам больше всего понравился вариант нашей учительницы.

На уроках литературы Зинаида Александровна много рассказывала о той исторической обстановке, в которой работал каждый из наших классиков литературы, приводили отдельные эпизоды из их жизни. Все это включало наше воображение при чтении повестей Пушкина, поэм Некрасова, рассказов Чехова.

Математику вела высокая тучная Ольга Николаевна. Она была лишена чувства юмора, мы даже не знали, какая у нее улыбка. Ольга Николаевна пресекала все лишние слова и даже междометия при объяснении теорем и хода решения алгебраических задач. Она поднимала бровь и стыдила: «Это что за птичий язык? Здесь должен быть только язык математики». Мы над ней подсмеивались, но незаметно для себя внутренне подтягивались при ее появлении в палате и не позволяли себе ни шуток, ни болтовни.

Кстати, лишённые возможности выходить к доске и с мелом в руке решать примеры и задачи, мы лежали и диктовали, а учитель за нас писал. Тут больше всего работы доставалось учительнице математики. Она записывала, когда мы диктовали ход своих решений, и делала выразительную паузу, когда нас заносило в неверное направление. Если кто-то при этом начинал подсказывать, Ольга Николаевна строго поднимала бровь. При скучной манере математички нам все-таки на ее уроках было весело, никто не расстраивался, если даже сплеховал.

Полная, вялая учительница английского языка, дочь нашей директорши Доры Марковны (забыл ее имя-отчество) спокойно вела свои занятия, благодушно относилась ко всем нашим шалостям, шуткам и плохой подготовке к занятиям. Мы так и не поняли до конца, хорошо ли мы у нее учились, или неважно, она всем ставила только четверки и пятёрки.

Невестка Доры Марковны (тоже не помню имени) учила нас истории. Учила плоховато. Она держала перед собой учебник и где-то подчитывая, где-то своими словами пересказывала текст учебника, не более того. Мы снисходительно прощали такую небрежность, потому что по истории у нас всегда были хорошие оценки. Как ни странно, но явная снисходительность учителей к нашим знаниям совсем не расхолаживала и каждый из нас в меру своих способностей старался учить и зубрить заданное. Я не помню, чтобы кто-то откровенно лентяйничал. Сама замкнутость существования меж четырех стен, конечно, понуждала к плотной учебе, сам познавательный процесс выводил на широкий мир. Но думаю, что, кроме всего этого, воздействовало и чувство благодарности нашим добрым учителям, боязнь огорчать их.

Позднее, когда я находил в книгах Паустовского и других писателей рассказы об атмосфере в дореволюционных гимназиях, я находил некоторые параллели с нашей санаторной школой. Прежде всего это касалось атмосферы, которую старались поддерживать преподаватели. Это так отличалось от того, что я вынес из сельской начальной школы, где большинство учителей довольно казенно относились к своей работе, откровенно выделяли любимчиков и остальных, которых они между собой называли оболтусами. Наверно, были и объективные

для того причины. Так, мы очень не любили в своей поселковой школе преподавателя физкультуры Александра Михайловича, который приехал к нам в офицерской форме, носил планки от фронтовых наград. С особой строгостью перестраивал нас в шеренгу, в колонну и заставлял под революционные песни вышагивать по измятому пустырю. Ругал нас беспощадно за нестройный шаг, бывало, что и за плечи тряхнет отнюдь не по отечески. А через годы он женился на молодой красивой учительнице младших классов, заочно закончил педагогический институт, преподавал географию и еще какие-то предметы, вел вечернюю школу рабочей молодежи, стал большим общественником в поселке, организовал местное радио, словом, влился в жизнь и для большинства оставался авторитетным человеком.

Послеобеденный распорядок

В своей поселковой школе я уходил после уроков с двумя чувствами – довольный, если не спрашивали и не ставили двоек или расстроенный, когда на занятиях ругали и лепили в дневник двойки. В санатории я в основном возвращался с занятий переполненный впечатлениями от обретенных знаний, настроенный быстрее поделиться ими с новыми друзьями. Возникло желание пополнить свой интеллектуальный багаж чтением новых книг.



Оркестр в санатории, 1953 год

После занятий нас развозили по палатам, кормили сытным обедом – и тихий час с двух до четырех часов. Были, конечно, сони, способные вздремнуть не раз на день, но мой деревенский уклад не мог приучить меня к дневному сну. И тут нашлись единомышленники, которые помогали мне коротать два лишних часа. Поскольку читать категорически было невозможно – старшая медсестра нещадно искоренила подобные попытки, то все наши усилия были направлены на прослушивание радио. Покупка радионаушников была первой вещью, приобретенной мной в Ленинграде, по совету новых друзей.

У каждой кровати у нас было по две розетки – электрическая и от проводного радио. Воткнул вилку в розетку и слушай радио, никому не мешая. Это в обычное время, а в тихий час? Тогда в продаже были наушники, в которых намагниченные катушки тончайших проводов превращали электрические импульсы микрофонов на радиостанциях в звуки в динамиках и наушниках. У ребят была распущена уже не одна такая катушка. И вот два почти невидимые проводка, умело прикрепленные к радиорозетке или проводам, незаметно подводятся под подушку, где припрятан один наушник. Отрегулируй громкость так, чтобы звук только-только был слышен твоему уху, но не далее, и наслаждайся передачами замечательного ленинградского радио. А в эти послеобеденные часы мы слушали замечательные детские и юношеские передачи. Чего стоил только «Клуб знаменитых капитанов», где герои приключенческих

книг разных эпох и народов действовали по современным сценариям, написанным с большой выдумкой, юмором. Шел замечательный театр у микрофона с озвучиванием классики и новых пьес, прозы для молодежи. Интересно было послушать и радиоспектакли для взрослых. Лучшие ленинградские актеры читали рассказы, стихи классиков и современных авторов. Славился Ленинград и музыкальными передачами. О жизни многих композиторов, музыкантов, писателей, актеров, вообще знаменитых людей я впервые узнал из радиопередач. Я поражался, как мало я знал о мире и старался впитывать все интересное, новое.

Вечерняя жизнь в санатории

Вечер был самым шумным временем в санатории. Двери почти не закрывались – ходячие слонялись по коридорам и помогали перевозить лежачих в гости из палаты в палату. Сестрам легче было следить через открытые двери за порядком в палатах. Дружный хохот, шумные споры, пение наполняли коридоры. Несколько ребят неплохо играли на мандолинах. Этот инструмент был для меня в диковинку и завораживал своей особой мелодичностью.

Я тоже попробовал учиться играть, и даже научился вести несколько нехитрых мелодий, но вскоре убедился, что слуха нет. Только через два года, когда санаторию подарили оркестр народных инструментов и профессиональный дирижер Дмитрий Дмитриевич прослушивая нас, он честно отметил, что особого слуха у меня нет, но если очень хочу заниматься, можно попробовать. Тогда я и начал осваивать домру. Не без усилий, но я научился на домре играть даже по нотам. И только, когда мы начали слаженно играть всем оркестром, я ощутил настоящий восторг слаженной многоголосой игры. Иногда захватывало дух, мы переглядывались, улыбались, удивлялись невиданному впечатлению от прикосновения к тому, что раньше звучало для нас сухо и прозаично – гармонии.

К каждому утреннику (Новый год, Первое мая, в 7 ноября) мы старательно разучивали народные и популярные тогда песни, репетировали и прямо-таки с ликованием выступали со своим концертом. Малыши на нас смотрели с обожанием и завистью, медсестры и нянечки – с умилением. Приходили нас послушать и врачи, сестры из других отделений больницы. Самая большая палата, вмещавшая до сорока кроватей, была переполнена, ребята устраивались по двое на кровати, на каталках и в передвижных креслах. Иногда приходили гости от шефов.

Не помню, рассказывал ли я, что папа в свое время заказал бывшему деревенскому умельцу, ставшему профессиональным мастером музыкальных инструментов Василию Быкову гармошку – хотел, чтобы мы научились играть. Кое-что простенькое Валя, Боря и я освоили, но не более того. В деревне было двое гармонистов, которые действительно хорошо играли на «хромке», мы отдавали себе отчет в этом и поиграть на гармошке в основном приходили к нам ребята и мужики, имевшими больше способностей. Когда я вернулся из санатория со своим багажом игры в струнном оркестре, я гармошку почти не брал в руки, стыдился.

Группа ребят увлекалась шахматами. Они съезжались по вечерам в одну палату и резались с большим азартом. Меня тоже научили играть, но особых успехов в игре я не достиг. Как сказал позднее математик из заочно-вечерней школы, у меня ассоциативное мышление, а не логическое, и поэтому математика, шахматы, ребусы – не моя сфера. Я этому не огорчился, а даже порадовался. Зачем мне долго мучить себя математикой, физикой, химией – достаточно знать их в объеме школьной программы, лучше я переключу свое внимание на гуманитарные науки. Правда, до восьмого класса я не мог определиться с тем направлением, которое мне было бы по душе и не требовалось насиловать себя. Как теперь понимаю, важно было то, что в подростковом возрасте я уже задумывался о своем будущем.

Шефы санатория

Я не перестаю удивляться, как много наши врачи, учителя и воспитатели смогла сделать не только для нашего выздоровления – это как бы принимается само собой, а особенно – для воспитания. Они нашли нам отличных шефов. Нас опекал завод по выпуску киноаппаратуры (кажется, он назывался «Кинап»). К нам приходили комсомольцы с этого завода и со своими малоформатными киноаппаратами и показывали фильмы. Особенно запомнился фильм об адмирале Ушакове. С восторгом смотрели фильм «Смелые люди» о военных подвигах партизан. Очень нравились комедии – нам не хватало в нашей повседневной жизни веселья и юмора. Приходил писатель, который рассказывал как он разыскивал героев с бронепоездов Гражданской войны и, кстати, об истории поисков броневика, с которого выступал Ленин у Финляндского вокзала. Выступал даже оперный певец, исполнитель роли юродивого в опере «Борис Годунов». Приезжали популярные тогда теноры Копылов и Матусев. Один вечер нас развлекал изобретатель электрического прибора, который извлекал музыку от манипуляций рук – видимо прообраз позднейших клавишников. Рассказывал нам о своих приключениях капитан дальнего плавания, и мальчишки размечтались о том, чтобы стать моряками, ходить в дальние страны, тем более, что морская романтика отражалась во многих книгах ленинградских писателей, как документальных, так и художественных. Боюсь, что ни один из выходцев из нашего санатория не смог в своем будущем исполнить эту полудетскую мечту – слишком серьезная болезнь легла печальной тенью на нашу судьбу. Но мечтать никому не запретишь. А взрослые вокруг нас старались вселить в нас надежды на лучшее.

Мне особенно врезалась в память лекция о только что вошедшем в строй Московском государственном университете на Ленинских горах. Сопровождавшие лекцию диафильмы поражали видом и масштабами здания МГУ: громадная библиотека и просторный читальный зал на 22-м этаже, откуда просматривалось пол-Москвы, актовый зал на несколько тысяч человек, прекрасно оборудованные аудитории и лаборатории, музеи, комнаты для студентов с душем и туалетом на двух человек, живших в изолированных комнатах, необъятные столовые и буфеты, умевшие за час накормить несколько тысяч человек, набегавших как правило голодными и не очень разборчивых к меню. Не скажу, чтобы мы сразу размечтались о поступлении в университет. Это казалось сказкой. Но в душу залегло глубоко. Я, конечно, не смел надеяться, что со временем перешагну порог этого замечательного университета.

Я перечисляю события, организованные для нас руководством санатория, учителями и воспитателями, чтобы показать, что мы жили не в больничном вакууме. Нас вводили в разные стороны жизни страны, в нас развивали любознательность, стремление к познанию, к активному восприятию увиденного, услышанного и прочитанного. И все это ложилось на благодатную почву, поскольку все мы сознательно или подсознательно стремились к познанию того мира, который все же оставался для нас за стеной. Не знаю, как у других ребят, но у меня сильно развивалась любознательность, фантазии. Не те фантазии, которым увлекались и ныне увлекаются подростки и молодежь, увлеченные фантастической литературой. Ни сказки, ни фантастика меня особо не увлекали. Конечно, в разные годы прочитал я и «Туманность Андромеды», и «Гиперболюид инженера Гарина», и «Старика Хоттабыча», а по университетской программе «Крошку Цахеса». Но все это – дань юным увлечениям или учебной программе – не более. Только в санатории я понял, как много замечательных книг из русской и зарубежной классики. Я открыл для себя юмор Помяловского, Марка Твена, Диккенса. До сих пор готов перечитывать «Генерала Топтыгина Некрасова. И до сих пор ругаю школьных и поселковых библиотекарей, которые подсовывали нам нравоучения и поделки вроде «Повести о детстве» Гладкова.

Лечение Марком Твенем

В пятом или шестом классе нам принесла воспитатель Зинаида Михайловна повесть «Васек Трубачов и его товарищи». Это тот же «Тимур и его команда» только периода Великой Отечественной войны. Зинаида Михайловна ввозила в нашу палату ребят из других палат и читала по главе каждый вечер. А когда она рассказала, что во время войны они жили в эвакуации на Урале в одном общежитии с автором «Трубачова» Асеевой, интерес к чтению у нас еще больше вырос.

Я настолько увлекся чтением, что не мог прожить вечера, чтобы не заниматься этим увлекательнейшим делом. Я читал вечер, а когда в 10 часов в палате выключали свет, пытался продолжать чтение под одеялом при тусклом свете купленного фонарика, у которого, к моей досаде слишком быстро расходовалась батарейка. Когда фонарик не работал, я лежал в темноте, вспоминал прочитанное, от которого переходил к собственной фантазии. Спал всегда крепко, если был здоров.

Как-то после простуды у меня образовался внутренний нарыв на левой щеке, почему-то подскочила температура. Врачей это сильно растревожило. Позднее Галина Васильевна мне пояснила, что боялись, как бы флюс на задел глазной нерв. Мне назначили уколы через каждые четыре часа и это продолжалось несколько суток. Я ослаб, температура изрядно измотала. Тут Галина Васильевна увидела на тумбочке тонкую книжку писателя Григорьева (современника и поклонника Некрасова). Это была повесть «Деревня» о беспросветной, мрачной жизни деревни середины 19 века. Галина Васильевна гневно сбросила эту книжку с моей тумбочки, сердито вызвала воспитателя Зинаиду Михайловну и при всех, что бывало крайне редко, отчитала, почему та не следит, что читают ребята, когда болеют. Тут же потребовала найти для меня самую смешную книжку. Возможно, точно сейчас уже не помню, в этой ситуации попали мне книги рассказов и повестей Марка Твена.

Вот такие были у нас врачи.

Расширение горизонтов

А Зинаида Михайловна, конечно, не могла уследить за всем. Но для меня она сделала очень многое. Я уже упоминал, что мы разыгрывали детские пьесы – своеобразный театр у микрофона. Ведущий рассказывал, кто из нас кого играет, разъяснял слушателям, что и где происходит, а мы озвучивали слова героев, беседы, диалоги. Я всячески отнекивался от участия в этих спектаклях, стыдясь своего еще не изжитого северного деревенского говора, но Зинаида Михайловна с шестого класса меня вводила в актерскую группу, как ни в чем не бывало, будто я рожден для театра. Запомнилась первая роль в детском спектакле по пьесе С. Михалкова. Роль мне попала, как мне казалось, самая каверзная. Я должен был играть юного скептика, вялого, мало чем интересующегося парня, который под напором более активных ребят менялся и начинал жить полнокровной ребячьей жизнью. Любимым выражением моего героя были два слова: «Так, вообще». Это-то и было моей мозолью. У нас в деревне говорили: «вобшэ». И я должен был неделями тренироваться, чтобы правильно произносить это проклятое слово. Ребята на репетиции при моем произношении, смеялись и перемигивались. Я краснел, путался в словах, в их произношении и готов был провалиться сквозь землю. Зинаида Михайловна останавливала ребят и ласково просила: «Игорь, повтори еще, как надо». И когда у меня получалось, она обводила взглядом насмешников: «Видели, как хорошо получилось? Вот я посмотрю, как вы умеете держаться на сцене».

Я все это рассказываю, потому что отдаю себе отчет, как во мне пробуждали интерес к культуре, к работе над собой, к тому, как надо реагировать на мнение окружающих. Я инстинктивно начал понимать, что просыпавшееся чувство собственного достоинства надо сохранять тем, чтобы не быть предметом насмешек и пренебрежительного отношения к себе. Может быть, это и высокопарно прозвучит, но во мне начиналось формирование личности. А физические страдания и боли, бесконечное ожидание выздоровления, тоска по нормальной жизни хочешь – не хочешь закаляли дух, умение терпеть, не ныть, презирать в себе слабость. Расширение духовной жизни давало мне уверенность, что я буду не хуже других. Я уже на второй год пребывания в санатории начал осознавать, что мой кругозор и горизонт общения не ограничатся деревней или даже поселком. На третий год своей лежачей жизни я уже знал, что не ограничусь годичными курсами и специальностью «сельский механизатор широкого профиля».

О стремлении родни к перемене мест

Да и родня вся у нас была не из домоседов. Для папы профессия тракториста была вершиной с его церковно-приходской школой. Он поступил на курсы в МТС, приврав, что у него два класса. Их не было. Его брат Иван с семью классами стал лейтенантом на войне. По маминей линии, как я уже писал, ее брат Григорий Степанович с семилеткой и курсами по лесоразработками дошел до крайкома комсомола и попал под чудовищную сталинскую разделку середины 30-х лет. Андрей Степанович с семью классами стал машинистом паровоза, водил локомотивы всех классов до пенсии. Самый младший из братьев Аркадий Степанович, тоже с семилеткой и курсами по молочной промышленности вошел в интеллигентскую среду. Прошел Финскую кампанию. Его прочили в офицеры, да плен в первые же дни войны на территории Литвы переломал его судьбу: начала лагеря и охраняемые бараки в Германии, потом пять лет в строительной колонии под Челябинском. Все бывшие пленники дважды испытали унижения и лишения. В оставшиеся 12 лет работал мастером на лесозаводе.

Когда я попал в ленинградский костно-туберкулезный санаторий, мои братья Валентин и Борис уже служили в армии – первый в Германии, второй в Польше. Все мы в палате с нетерпением ждали писем, и я мог похвастать – вот это письмо моего брата из Германии, а это – из Польши. И солдатскую службу, за границу подростки тогда читали. Не сомневались, что Валентина ждет работа счетовода, которую он освоил до службы. Борис на комбинате получил профессию тракториста и электрика. Его могучий трактор стоял без гусениц на железобетонных основаниях и крутил генератор, вырабатывавший электроэнергию для поселка. В письмах ко мне Борис рассказал, что закончил курсы шофера и развозит на автобусе офицерских детей в школу. От Бориса мы всегда ждали чего-то необычного. Знали – он не пропадет. Так и было в дальнейшем.

О семье в это время

С мамой и папой какое-то время оставалась одна Фаина. Вся ее жизнь, как и мамина, была связана со скотным двором, с коровами. Вернее сказать, привязана была к коровам. В любое время года их надо с утра накормить, напоить и подоить и то же самое – вечером. Ни выходных, ни праздников. Это была колхозная форма крепостничества. Если кто-то из подруг и подменит на день-два, то тем же требовалось ответить и подруге.

Только один раз за три с половиной года мама вместе с дядей Аркадием смогли приехать ко мне. Посмотрели, как мне живется, подивились веселости нашей братвы. Ребятишки не унывали, будучи закованными в гипс и привязанными к боковинам кровати. Вид мамы, борющейся со страхом за меня и любопытством к незнакомой и странной для нее обстановке, ее слезы и нервные расспросы перебивали мне радость от ее приезда. Поговорив с главным врачом Галиной Васильевной в ее кабинете, мама и дядя Аркадий вернулись ко мне немного повеселевшими. Галина Васильевна пообещала, что я обязательно вылекусь и вернусь здоровым.

Письма я получал не часто, но от этого не страдал. С дому мне в основном писал папа, жалостливо спрашивал о здоровье, о питании. Я отвечал всегда бодро, сообщал, когда снимут очередной гипс, сделают рентгеновский снимок и скажут о состоянии моей ноги. Поскольку результаты всегда были неутешительны, я перестал перечислять их, отделялся общими фразами. Сдержанность стала второй моей натурой. Сдержанность в откровениях, но это в дальнейшем не мешало мне быть вспыльчивым и нервным в неприятных ситуациях. В папиных конвертах, как правило, я находил десятирублевку. Надо отдать должное тогдашней почте – конверты если и вскрывали, то редко, в моей памяти таких случаев не было. Деньги я тратил на толстые тетради, бумагу, цветные карандаши, позднее – на шариковые ручки, но они так сильно подтекали, пачкали постельное белье и нашу казенную одежду, что врачи стали запрещать пользоваться ими. Постоянно приходилось обновлять радионаушники. Один раз на Новый год мы сбросились со взрослыми ребятами на бутылку шампанского. Каждому досталось грамм по 100. Украдкой выпили, смотрели друг на друга и спрашивали: ну как захмелел? Я ничего приятного не почувствовал ни вовремя питья, ни позже. И до сих пор равнодушен к этому напитку.

Тут я должен, правды ради, сказать, что в деревне, где после войны регулярно осенью варили пиво и устраивали коллективные застолья, и нам, челяди, тоже доставалось немного. Уж не говорю о широких праздниках дома, когда родня заполняла всю избу. Зная, где хранятся зеленые бутылки с сургучными пробками, грех было не проколоть одну из них и не попробовать содержимое. Так что я лет в тринадцать знал горечь водки и тяжелое ощущение от нее.

Заочная школа

Итак, Валентин и Борис уже вернулись из армии, Фаина вышла замуж за соседского парня Бориса Келарева и взяла его фамилию, а я все еще лечился и не знал, чем это лечение кончится. Хорошо закончил нашу семилетнюю школу.

Таких же, закончивших школу, но не вылечившихся, оказалось человек семь или восемь. Из ребят нас было трое: Женя Артамонов, Лева Комаров и я. Нас поселили в самую маленькую палату и мы старательно зубрили программу восьмого класса. Учителя из школы рабочей молодежи приходили к нам в начале каждой четверти, приносили учебники и второй раз мы их видели в конце четверти, когда они устраивали нам экзамен и ставили оценки.

А в конце – опять задания на новую четверть. Это были не столько экзамены, сколько собеседования. Они были предельно доброжелательны, и не знаю уж, искренне или несколько наигранно удивлялись нашим познаниям и на хорошие оценки не скупились. Это были люди, пережившие блокаду или эвакуацию, повидавшие такого лиха, что, казалось бы, ничем их не удивишь. А они не скрывали своего уважения к нашей терпеливости, к нашему стремлению учиться. Ободряли, вселяли надежду.

Анкилоз

Последняя осень – 1954 год – была для моих проблем решающей. Врачи после многих проверок и анализов пришли к убеждению, что мои кости уже не поддаются полному восстановлению и чтобы избежать ампутации ноги, следует воспользоваться разработанным к тому времени анкилозом. Коленный сустав ликвидируется, а тазобедренная и нижняя кости путем расщепления соединяются и скрепляются одна с другой костяными же клиньями, на которые идет уже не нужная коленная чашечка. Такую операцию в то время делали только в Ленинградской военной медицинской академии. К нам время от времени приезжали то один, то другой два профессора этой академии, чтобы обследовать и назначить день операции.

Как-то в жаркий летний день мы украдкой открыли дверь на полукруглый балкон, нависавший над внутренним двором больницы. С права в нескольких метрах напротив нас находилась операционная нашего отделения. Фрамуги высоких занавешенных окон операционной были открыты. Мы услышали через них резкие жесткие стуки, не похожие ни на стук по дереву (он был бы глухой), ни по металлу (тот отдает хоть каким-то звоном). Наиболее знающий из нас пояснил: «Ребята, это рубят кость». Я уже знал, что когда вместо коленного сустава делают неподвижный стык костей и для этого используют коленную чашечку для клиньев, скрепляющих кости, а если делают неподвижным тазобедренный сустав, то для клиньев вырубают из здоровой кости ниже колена длинный осколок кости, вшивают в бедро, где она находится две недели до основной операции, чтобы быть разрубленной на клинья. Мы сочувствовали ребятам, у которых болели тазобедренные суставы. У них, как мы считали, и операция труднее – в два захода – и неподвижный сустав сильно мешал и при ходьбе, и усаживаться приходилось всегда боком на краешек стула или дивана.

Гораздо позднее в какой-то компании я познакомился с невысоким худощавым человеком моего возраста и по его походке и манере сидеть увидел давно знакомые позы. Он тоже увидел мое негнущееся колено и первым подошел поболтать. Мы сразу друг друга поняли. Он оказался хирургом.

– Теперь уже не хирург. Больше двух-трех часов уже не могу выстоять у операционного стола – позвоночник насквозь прошибает, болит до невозможности. Перешел в реаниматоры. Вот приехали в Москву на конференцию реаниматоров. Ты-то своего позвоночника так не чувствуешь?

– Пока не чувствую.

– Ну, желаю, чтобы не чувствовал как можно дольше. А избежать нам с тобой болей в позвоночнике и в тазобедренных суставах все равно не удастся. Чем больше живем, тем больше расшатываем их. У тебя-то какая работа?

– Я журналист. Больше за столом, но приходится много и ходить, и ездить.

– Ну, желаю, чтобы подольше не аукнулось тебе наше прошлое.

Такое не забывается.

И вот я пишу сегодня, 11 февраля 2009 года, у себя дома в Москве, на компьютере и жду очередной выписки из онкологического центра на получение инвалидности. Третью группу инвалидности я получил 2004 году за мое колено (анкилоз), гипертонию и кардиосклероз. Вторую, на год, дали за прибавившиеся к прошлому рак, эхинококкоз печени (тропическая болезнь) и гепатит Ц, полученный при переливании крови, когда делали операцию по выкачиванию эхинококкоза. К этому полному собранию медицинских названий 30 января нынешнего 2009 года прибавили тот предсказанный хирургом сколиоз позвоночника и коксартроз тазобедренных суставов. Все это не обещает легкой жизни. Приобрел клюшку в помощь ногам. Удастся ли отделаться одной клюшкой? Но уже то хорошо, что последняя хвороба застала в 72 года, а не раньше. Надо быть благодарным судьбе.

Операция по удалению колена

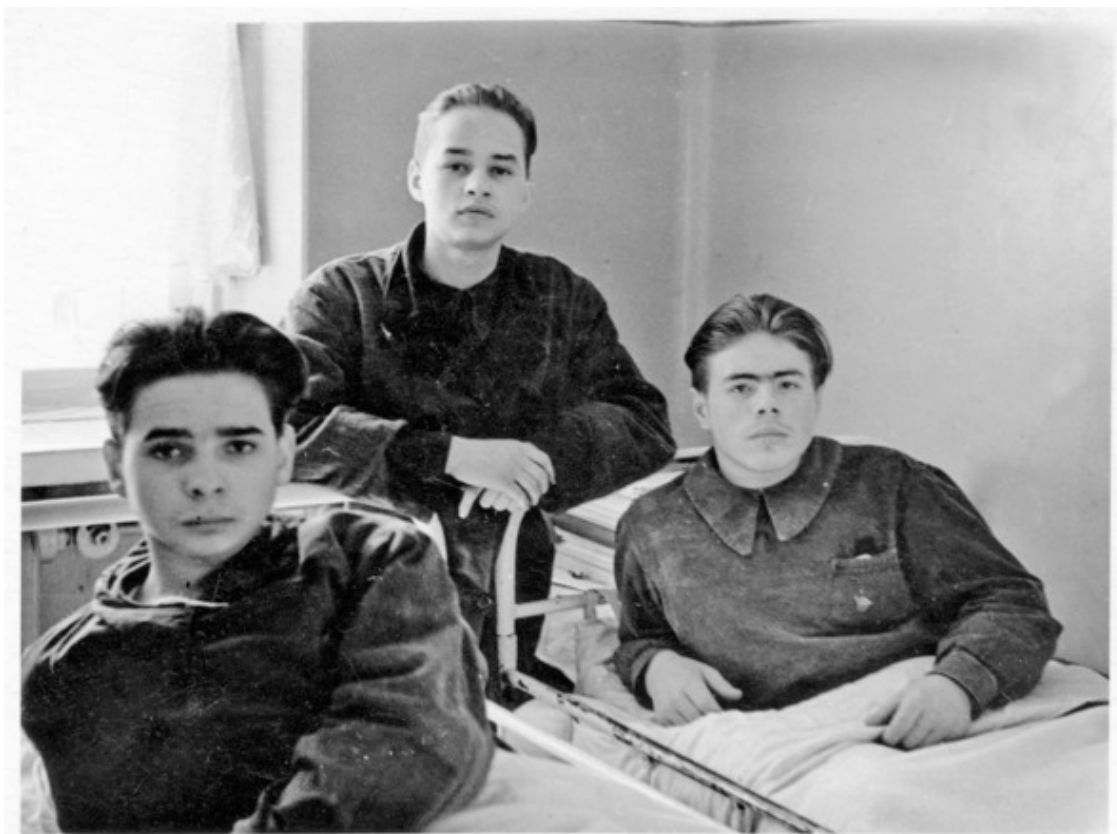
Я снова отвлекся от ранней осени 1954 года, когда было объявлено об операции. Конечно, тяжело было осознавать, что на всю жизнь я останусь хромым, как говорят, не полноценным. Врачи, медсестры и нянечки успокаивали меня, говорили, что могло быть и хуже – совсем потерять ногу. Воображение уже рисовало, как все оглядываются на меня на улице, видя мои изъязны. По натуре я никогда не стремился выпячиваться, быть на виду. То, что у меня было свое самолюбие, стремление что-то делать лучше других сверстников – этого не отнимешь. Но это проявлялось в ребяческих делах в деревне, когда, например, имели дело с лошадьми – кому не хочется похвастать хорошей и быстрой ездой. В санатории это были своеобразные соревнования на сообразительность, знание изучаемых предметов. Но хвастунов и зазнаек в санатории не любили, их высмеивали. Еще ценилось остроумие, вовремя подброшенная шутка, анекдот. Теперь у меня к сожалению, так мне казалось тогда, на первое место будет выходить моя хромота, отличие от нормальных ребят. В ожидании операции я более усердно взялся за учебу, чтобы был задел на то время, пока снова начну приходить в себя закованным в новый гипс от пальцев ног до груди.

Медсестра Зоя – специалист по гипсам несколько раз с утра подходила к моей кровати, ободряла. И вот я на операционном столе. Операционная сестра подносит к моему лицу резиновую маску: «Давай-ка, померяем, подходит ли?» Зоя в это время складывает мне на груди руки и сжимает мое тело. Под маской я задыхаюсь от нестерпимого газа. Рыпнулся под крепкими руками Зои, крикнул: «Жгет!» И – трудно поверить – мне стало стыдно за мое произношение, захотелось исправиться и правильно крикнуть «Жжет!», но тут я увидел перед собой круги на воде, будто подскочила рыба, булькнуло в центре этого круга, и я отключился.

Очнулся в темноте, только горела синяя лампа над дверью. Я лежал в отдельной палате, которую ныне назвали бы реанимационной. Несколько раз приходил в себя и засыпал, пока понял, что операция позади. Я вспомнил, что в моем положении всегда просят пить. С некоторым усилием я нащупал рукой на стене кнопку звонка, нажал. Быстро вошла дежурная сестра.

– Молодец, Игорек, уже проснулся. Я сейчас свет зажгу и позову Галину Васильевну.

Галина Васильевна пощупала мне пульс заставила пошевелить пальцами оперированной ноги – они шевелились и это ободрило Галину Васильевну. За что-то похвалила меня и сказала, что операция прошла успешно, хирург все сделал, как нужно – все позади, только подождать, как срастутся кости, и через некоторое время я буду учиться ходить. К сожалению, не обошлось без осложнений. Сначала из дренажной трубки, выведенной от самых костей через толщу гипса, выходила какая-то гадость, потом этот процесс остановился и сначала колено, а потом и вся нога стала нестерпимо болеть. Через дренажную трубку вводили какие-то лекарства, часто делали уколы в руку, а нога горела как над жаровней. Несколько дней и ночей не мог ни на минуту заснуть – вот когда время тянулось, будто я летел в темную вечность. Если бы до этого я прочитал поэму Данте «Ад», я бы поверил безоговорочно в его существование. Наконец Галина Васильевна пришла ко мне в палату, в которой я явно залежался дольше положенного, и пригласила сестру Зою с ее ужасным резаком. Когда разрежали щель в гипсе на уровне колена и ниже, из ноги фонтаном выбросило гной, заливший всю мою постель. Еще с неделю я провел в этой ужасной палате. Боль утихомирили, но мне строжайше было запрещено ничем не двигать, чтобы не нарушить положение скрепленных костей. Боль притупилась, зато усилился страх, что кости не срастутся или срастутся неправильно и мне придется все повторять снова. Ладно, хватит о боли и страхах.



Оркестр в санатории, 1955 год

Прощание с санаторием

Привезли меня в палату к Жене и Леве и я как ни в чем не бывало вернулся к своим учебникам. Зимой мне сняли гипс, сделали съемный тугор – такой негнувшийся чулок, который, расшнуровывая, можно снимать на ночь и обязательно надевать с утра. Впервые за три года я встал на ноги. Оказалось, что я выше некоторых нянечек и медсестер. В первый день я стоял 10 минут, крепко ухватившись за кровать, у которой для этого застопорили колесики. Стоял под наблюдением дежурной медсестры. Время стояния увеличивали, мне выдали костыли. Галина Васильевна потребовала осторожно ступить больной ногой. Меня охватил страх. Помня, как ломали и подгоняли одна к другой мои кости, я боялся поверить, что они выдержат мой вес. Понадобилась большая сила воли, чтобы осторожно начать медленно нажимать ногу к полу. Все стадии возвращения на ноги, наконец, прошел и почувствовал уверенность в ногах, а также и в голове, поскольку заочно закончил и отлично сдал все экзамены за 8-й класс.

В июне 1955 года я простился с санаторием, переполненный самой искренней благодарностью замечательному коллективу, окружившему нас такой неподдельной участливостью и жалостью, я не стыжусь этого слова, что это согревало меня всю жизнь. Через шесть лет после самой кровавой в истории войны, наша страна не только восстановила прежние социальные и гуманитарные ценности, но и дала возможность новым поколениям быть уверенными в своем будущем.

Дело не в Сталине, Хрущеве, Брежневле или Ельцине. Можно выхватывать из истории отдельные стороны общественной, политической и материальной жизни, каждый демагог может найти оправдание своим действиям или полному бездействию, как это произошло с Брежневым, Ельциным, окруженным сворой властолюбивых старцев или пронырливых мошенников, умеющих ловить рыбу в любой мутной воде. Они лишили людей веры и уверенности в себе и в своих властителей, потому что идеологию подменили первый – болтовней, второй – погоней за наживой. Впрочем, об этом еще сумеем поговорить в дальнейшем. Я ехал на верхней полке скорого поезда домой с папой, который был взволнован моим преображением (не видел три с половиной года), все спрашивал, не хочу ли я поесть, попить. Я хотел только домой. И смотрел, смотрел в окно. Впервые за 3 с половиной года я мог видеть больше, чем позволяло больничное окно. Открывался уже не воображаемый, вычитанный или услышанный, а реальный мир с природой, людьми с их местом обитания.

Глава VII: Старшие классы в поселке Солгинском

Возвращение в поселок

Уж что-что, а поворчать я еще успею в ходе моего повествования. А теперь возвращаюсь на канву своего рассказа о том, как завершилась моя больничная эпопея, и началась новая. Я вернулся в деревню, где за три с половиной года многое изменилось, как и я сам. Маленький штрих. Мама все как-то по-особому разглядывала меня, потом спросила:

– Игорь, неужто, ты брови-то красишь? Ведь были и бровки и волосики светленькие как лен, а теперь, гляди-ко, черный.

Маме было трудно поверить, что это естественное изменение, а уж чем вызвано, я и сам не знаю. Наверно, затворническая жизнь без открытого солнца, постоянный прием укрепляющих лекарств и препаратов сделали свое.

Сама мама, мне казалось, не много изменилась. Ей в тот год исполнилось 50 лет. Она пополнела, как и большинство женщин ее возраста. Ее многолетнее дело – уход за колхозными овцами – закончилось. Колхозная овчарня была ликвидирована. Мама ходила на разные работы в поле, но и там при какой-никакой технике дела для женщин было мало. Летом еще выходила в погодные дни с косой и граблями на ближние пожни, но эти сенокосы уже не были похожи на то, что было в военные и послевоенные годы, когда колхозный коровник был переполнен коровами, конский двор – лошадьми и жеребятами, овчарня кишела овцами. И все это поголовье требовало сена. Колхоз помаленьку разваливался, хотя и укрупнялся. Из ферм остался колхозный двор и небольшая конюшня для десятка лошадей. Овцами и свиньями занимались в других деревнях, превратившихся в бригады укрупнившегося колхоза. Власти приходили к пониманию, что северные районы при резко сократившейся рабочей силе уже не способны были давать государству и зерно, и мясо, и молоко. Большинство полей перевели на кормовые культуры, с которыми легко управлялась не хитрая техника. Пожни зарастали, но еще оставались ровные пяточки для заготовки сена для домашней живности. Папа и мама тоже держали корову, овец. Весной заводили маленького поросенка, чтобы к морозам и к октябрьским праздникам иметь мясо. На полях хватало места для выращивания собственной картошки и капусты.

Теперь наша Фаина с молодыми женщинами управлялись с коровами. Фаина хлебала ту долю, которая досталась деревенским женщинам до войны, во время ее и после. Дойка вручную, кормление и уборка – все старыми методами. Только позднее провели электричество и ввели механическое доение. Фаина вышла замуж за деревенского парня Бориса Келарева, который был лет на восемь старше ее. Человек добрый и добродушный, спокойный, незлобивый. Он успел послужить в армии последний год войны, где освоил профессию повара. Так что дома он любил повозиться у плиты. Он работал сначала бригадиром, потом, когда колхоз превратили в совхоз, стал руководителем отделения, охватывающего три ближайших деревни. Жили они с Фаиной и его матерью в старом доме родителей. Сестры Бориса давно разъехались по другим местам. А с ними еще оставался брат Бориса – Володя. Как не уговаривали Бориса родственники перейти на работу в домостроительный комбинат, где обещали должность мастера, он отшучивался, отнекивался и все глубже вращался в зараставшую лопухами деревню в прямом и переносном смысле.

Мама любила зятя Бориса за его мягкость и добродушие. Он к ней тоже относился с уважением, помогал, чем мог. Он был единственный из наших мужчин, которому она могла украдкой принести стопочку на опохмелку. Он каким-то удивительным образом мог сочетать

и работу, и выпивки. И никому не причинял вреда. А колхоз и совхоз шли сами по себе к разложению, как и вся система их управления.

Папа продолжал работать на водокачке, снабжавшей поселок и комбинат водой. Он получал скромную зарплату слесаря, продолжал погашать ссуду, взятую на строительство дома в поселке. Денег хватило только на то, чтобы подвести стены до крыши, и строительство застопорилось. Темный бревенчатый остов дома мок под осенними дождями, его секли снежные вихри зимой и папа переживал, что не успел подвести сруб под крышу. Один местный начальник уже подкатывал к нему, чтобы перекупить сруб, но папа ждал лучших времен.

О советской жизни тех лет (конец 50-х годов)

К моему возвращению из Ленинграда братья Валентин и Борис уже отслужили. Валя опять взялся за бухгалтерию, а Боря освоил еще одну профессию – машиниста дрезины. Это такая техника для работы на рельсах. Пассажирская дрезина, понятно, развозит людей по местным железнодорожным веткам. Есть строительная машина с краном и грузовой платформой. В ее тесной кабинке кроме машиниста может поместиться еще два-три человека. Я частенько сживал рядом с братом. Кроме технической части машинист должен знать еще все правила движения по железным дорогам. Борис пополнял список своих профессий, но как-то не прикипал ни к чему особо. Он всегда был компанейским человеком, но это не всегда идет на пользу.

В советской жизни тех времен была хроническая неустроенность. Все делалось будто бы для больших и нужных целей и никто не заботился о самом человеке, о его быте. Да, папе предоставили ссуду на постройку дома, но она шла только на покупку леса и пиломатериалов, а остальное нужно было оплачивать самому. Понятия «сферы услуг» вообще не существовало. Хорошо, что в поселке жили два брата Медведевы, которые жили как бы на отшибе – шабашили. Они были хорошими плотниками и крепкими мужиками, способными закатывать вдвоем тяжеленные комли на стену и ловко подбивать один к другому. Но это о доме. А тебперь я перехожу к рассказу о нравах, которые кого-то устраивали в поселке, а кто-то искал другого.

Отсутствие служб услуг влекло за собой одну особенность. Услуги сами по себе были, только все на самостоятельности людей. Подвести дрова, сено стройматериалы, бетонные плиты под фундамент, старые шпалы под садовую дорожку, вспахать огород, перекрыть крышу, вырыть колодец или яму для овощей, выкорчевать площадку под картошку, прорыть канаву от ручья к дому, засыпать песком и щебенкой заболоченную лужайку и тысячи других дел нужны в маленьком поселке. Все это делалось и делается до сих пор. Начальство смотрит сквозь пальцы на то, что его люди это проворачивают в рабочее время и с использованием казенной техники, а часто и с воровством материалов. Трудно кого-либо в этом осуждать. У людей часто нет выбора. И плата как правило одна и та же – бутылка водки. Калым стал символом легкой наживы и легкого спуска этой наживы – в пьянке. Мало кто копил на этом деньги. Не в русском характере.

В этой атмосфере размываются понятия бережливости, ценности рубля, да и вообще ценности своего дела, своих способностей. На казенной работе много все равно не заработаешь, а есть возможность подкалымить – эти деньги – на ветер.

А если учесть, что в молодежной среде того времени почти все было открыто и просто не принято было выпивать в одиночку, то коллективные выпивки вошли в обыденную жизнь. Вовлеклись в это и Валя с Борей. У Вали было еще к тому же тяжелое похмелье и на второй день он был никудышным работником, если даже и добирался к обеду до своей конторы. На районных курсах он получил диплом бухгалтера, но эта бумага не могла изменить его характера. Он был всегда добрым, мягким, но при отсутствии характера, умения поставить себя во взаимоотношениях с начальством и людьми, это мало приносило пользы как ему самому, так и окружающим. Вынесенная с детства любовь к рыбалке не стала его серьезным увлечением. Не обрел он и привычки что-то мастерить по дому – почти обязательное условие жизни на селе. Словом, мало что его привязывало к сельской жизни. А работа была рутинной, однообразной. Забегая вперед, скажу, что со временем Валентин получил права шофера и с этой профессией он дожил до пенсии. Не очень удачно женился, почти в одиночку вырастил дочку Лену.

Авантюрный характер Бориса

Характер Бориса иной – более порывистый, немножко авантюрный, беспокойный. Размеренная жизнь его не то что тяготила – в поселке у него было много друзей, на работе его ценили, но душа, видимо, требовала перемен. Поездка с папой в Донбасс, фэзэушная жизнь и первые самостоятельные шаги вдали от семьи, служба в армии с не очень строгими условиями на военной автобазе, легкость овладения профессиями давали ему представление о некоей другой жизни, а опыт давал уверенность в своих силах. Я замечал, как он мучился после молодецких пирушек – не столько физически, сколько душевно – он сам себе не нравился. Он чувствовал, что способен на большее и подспудно боялся местной трясины.

Как-то мы с папой и Борисом до обеда выкашивали небольшую пожню, а после обеда сгребали и укладывали в копну ранее выкошенную и уже высушенную отаву. Во время обеда мы с папой уговаривали Бориса пойти учиться в вечернюю школу. А через три года он мог бы пойти в техникум. Так поступали некоторые ребята с амбициями. Боре в том году было 24 года. Он прикинул и решительно сказал, что шесть лет учебы – это не для него.



Галкин Борис Александрович

Папе хотелось, чтобы Борис, увлекшись учебой, мог по-настоящему помочь достроить дом и вообще остепенился, привел в дом жену

Борис подсмеивался, на долгие разговоры не шел. Видимо, уже задумал что-то свое.

Этот летний день мне запомнился еще и по другому поводу. Когда мы присели пообедать, папа споро, в один замах, рубил толстые жерди на костер. Борис подтолкнул меня в бок:

– Посмотри, какие крупные жилистые руки. Разве нам с нашими руками построить дом?

– Чего там шепчешься? – спросил папа.

– Мы удивляемся, какие у тебя большие крепкие руки, – признался я.

– О, ребята, не завидуйте. Хорошо бы вам не пришлось рубить столько, сколько мне. Вся жизнь с топором, косой и мотвилком. Не приведи Бог. Да и чугунная баранка трактора не легче. Так что учитесь и не думайте о прошлом.

Не прошло и года, как Борис с местным парнем Василием Ильиным, работавшим в столярном цехе, засобирались в Мурманск, наниматься на траловый флот. Кто-то из приезжих расхваливал, как хорошо платят мурманским рыбакам. Быстро рассчитались, собрались, и уже подготовленный Борисом местный парень отвез их на дрезине к поезду.

Папа и мама не одобряли затею Бориса, но и не очень отговаривали, думали остепенится на людях. Жалели, правда, что не привязали к дому, который нужно было еще достраивать.

Слабый характер Валентина



Валентин Александрович Галкин

Валентин начал вращаться в колхоз, который позднее превратился в совхоз, а он сам, подучившись в Вельске, стал бухгалтером. У него там время от времени возникали проблемы с финансовыми расчетами, доводилось и папе выручать, погашать какие-то неоправданные перерасходы, которых он, видимо, не умел предотвращать, или шел на поводу у председателя колхоза. Слабый податливый характер не раз играл с ним злую шутку и по работе, а потом и в семейной жизни. Жена оказалась женщиной с сильным характером, хотя и нельзя сказать, чтобы не проявляла и доброты и благодушия. Просто позволяла себе больше, чем нужно для прочной семейной жизни.

А у меня начался новый этап. Но об этом – в следующей главе.

О родне в это время (1953 г.)

При возвращении в деревню мне пришлось заново знакомиться с родней. Дядя Гриша приехал в свой дом с поселения из Коми Республики. На поселении он женился на тете Ане («комячка» – называла она себя) и приехали с тремя детьми Юрой, Володей и Светой. К моему возвращению только братья учились в начальной школе, Света еще была маленькой.

Дядя Гриша мне много рассказывал о тюрьмах, лагерях и поселениях, где провел 18 лет, и все добивался реабилитации.

Второй мамин брат – дядя Андрей вернулся из Читинской области, где провел всю войну на узловой станции Могоча, водил паровозы по Восточно-Сибирской магистрали. Его перевели в Кулой (75 км от нас по Северной дороге на Воркуту). У них с тетей Анной было трое детей – Женя от погибшего на войне первого мужа тети Ани, учившаяся в 8-м классе, Боря девяти лет и совсем маленькая Зоя.

Дядя Андрей частенько приезжал в деревню, а когда мы переехали в достроенный дом, – в поселок на праздники. В каком бы состоянии ни был, упрямо добираться домой, чтобы выспаться к моменту, когда могут вызвать в поездку. Когда родня ахала и охала, как он, не совсем протрезвев, бежит к железной дороге, он только усмехался: «Мне лишь бы добежать до магистрали, а там мужики с товарняком всегда притормозят». И это не было бахвальством. Он дорожил своей работой, которая, надо сказать, хорошо оплачивалась. Папа частенько занимал у него. Без такого займа не обошлось и тогда, когда я через два года уезжал поступать в ленинградский университет. И во многих других случаях он был для нас палочкой-выручалочкой. Тетя Анна, которая вела родословную из Украины, удивляла коренных жителей обильным огородом, в котором росло то, что, что, казалось, невозможно в нашем северном холодном климате.

Папа и мама мечтали, что вырастут дети, станут на ноги и тогда семья заживет. Ведь раньше в семье никогда не было ни приличного достатка, ни облегчения в жизни. А тут ничего не получалось. Газеты, радио и кинохроника кричали о все новых и новых успехах страны, показывали счастливых людей у станка, на комбайне, в праздничных демонстрациях, а у нас мало, что менялось. Правда, от голода уже отошли, о хлебе, картошке и молоке уже не беспокоились, но все остальное менялось медленно. Мне это, наверно, больше, чем другим бросалось в глаза, потому что я на себе испытал, как много делалось для нашего здоровья, учебы и культуры, а деревня, да и поселок с его промышленностью преобразались как-то медленно. И не видно было просвета. Ведь так много всеми было пережито, столько наобещано после войны, а все как-то не сходилось с повседневной жизнью. Братья были женихами, девушки к ним тоже присматривались. Но все мы не знали, что будет дальше. Старый дом становился тесен – ну что две комнаты? Летом еще можно было спать на повети, что мы с братьями и делали, а зимой – тесно. Новый недостроенный дом, вернее – его сруб без потолка и крыши, оставался мокнуть под дождями. Не хватало денег на материалы и наем плотников.

Когда я вернулся домой, то не заметил, чтобы у братьев появилось большое желание подвести дом под крышу, к чему склонял их папа. Валентин и Борис жили как-то легкомысленно, не задумывались о будущем. Папины разговоры о том, чтобы закончить строительство, они пропускали мимо ушей. Помнившие строительство поселка со сплава леса, возведения цехов и самых первых примитивных бараков для жилья, они, думаю, надеялись, что вскоре со свободным жильем вопрос будет решен, как и обещали власти, и тогда их тоже новые квартиры не обойдут стороной. В любом случае они совершенно не могли предположить, что проживут в поселке всю жизнь, что давно будут закрыты, а затем разрушены цеха по выпуску бруса и панелей для домов в разных концах страны, а проблема жилья в поселке так и не будет решена. Поэтому о будущем они особо не задумывались, с домом не торопились. И как все

холостяки потихоньку втягивались в беззаботную жизнь, где пьяночки занимали осуждающе большое место.

О проблемах деревни, фронтовиков, пьянках

Я еще нигде не встречал экономически и психологически обоснованных исследований настроения советских людей через десять лет после ужасной войны. Да их и не могло быть. Государство и партия сами решали, каким быть настроению трудящихся. Таким, какое им привьют. Понятно, что первые пять лет после войны люди жили еще инерцией борьбы с невзгодами и лишениями – радовались уже тому, что перестали приходить похоронки, что не умирали от голода, что в деревне и поселке появлялись новые дома. Отсюда пошла расхожая фраза «Лишь бы не было войны». В этом и были коренные изменения. Остальное, мол, зависит от самих людей. Так всем и внушали. Да в принципе так и было, ни кто не ждал особых благ. Народ еще не знал, что от властей можно и надо требовать. Если это и прорывалось, то не дальше претензий к председателю колхоза или сельсовета. Уже районная власть считала себя единой с высшими властями. Народ был запуган, затюкан, отучен мыслить самостоятельно.

Крестьянин – тем более. Он с пеленок знает, что все зависит от его труда, от климата и погоды. Это действительно объективно, а власти – они для того и существуют, чтобы требовать и требовать. Даже северный крестьянин, не знавший крепостного права, непосредственно стоявшего над ним господина, все равно был воспитан в духе чьего-то подчинения. Может быть, новгородские ушкуйники и их ближайшие поколения еще и чувствовали вольницу, но в дальнейшем этого состояния независимости уже не существовало. Народы воспитываются веками, многими поколениями или такими встрясками, которые отбивают и дедовские традиции, и понятия о правах и обязанностях.

Вернемся к первым послевоенным годам. Победители возвращались из Германии и других освобожденных ими стран, которых и за врагов не считали из-за их слабости, но вдруг они увидели, что уровень жизни там, в их представлении, был сказочно высок. Они, победители, лишь по счастливому жребию возвращавшиеся с мировой бойни живыми, осознавшие величину потерь и важность побед, вдруг оказывались дома, где ничего не изменилось, где продолжали править не испытанные войной герои и страдальцы, а поставленные кем-то держиморды. Все было поставлено на сохранение «завоеваний социализма» в сталинском духе. Продолжалось хамское отношение к народу, выстрадавшему свое право на свободу, на человеческое существование. Вырожденец Джугашвили, не усвоившей ни гуманных европейских традиций, ни мирового либерализма, ни восточной осторожности в общении с подчиненным народом, шел только ему одному известным путем диктатора в окружении им же запуганных прихлебателей. Армии теоретиков и пропагандистов оставалось только осенять идеологическими оправданиями прихоти полу-азиата, полу-головореза и политического негодая.

Если кого и жалко, то это народа и тех честных, мужественных на войне людей, которые были призваны в партийные и советские органы, чтобы служить прикрытием сначала этого изверга, потом – примитивного идиота Суслова, а также бездельника Брежнева. Думаю, что в этом ряду не место имени Хрущева – тот сделал самое большое, что мог в свое время и в своей партийной среде – вывести вождя всех народов на чистую воду.

В материальном плане страна ценой невероятных усилий ликвидировала ужасающие последствия войны. Однако коренных изменений в политической и духовной жизни народа не происходило. После Великой отечественной войны 1812 года наиболее прогрессивные офицеры русской армии взбунтовались против абсолютной власти царя, вышли на Сенатскую площадь в Петербурге под пули опричников. Их подвело рыцарское дворянское воспитание.

Иезуитское классовое воспитание по наущению Маркса лишило советских людей всякого духовного воспитания, кроме чисто животного – отними добро у богатого, а когда этого добра ни у кого не осталось, – кусай того, на кого укажут. Вместо стародавнего веча, соборно-

сти, земств и других коллегиальных методов решения общественных дел – коллективные проработки «нечистых», закрытые суды доверенных «троек». Беспредел не лучше феодального пронизал все поры власти от сельсовета до кремлевских советов. Люди вообще не знали, что такое законодательная, судебная и исполнительная власти. Все они по сути были направлены против человека. Все это сказывалось на образе жизни советского человека. Я не могу проводить прямых взаимосвязей образа жизни русских людей и зависимости их от тех или иных обстоятельств – это необъятная тема. Увлечение водкой – один из пороков, который не миновал мужиков первого послевоенного поколения.

Ладно, бывшие фронтовики – их можно понять: послевоенная расслабуха. Но почему в него втягивались молодые ребята, прошедшие армию, включавшиеся в новую самостоятельную жизнь? Этим делом не сильно, но все-таки грешили и Валентин с Борисом. По их заработкам и «калыму» водка была сравнительно доступна, а что-то более важное для будущей жизни не появлялось. Да и в характере у северян не сказывалось желания далеко вперед планировать свою жизнь и шаг за шагом добиваться каких-то целей. Позднее я имел возможность наблюдать, как украинцы, кавказцы, ребята из среднеазиатских да и поволжских республик приезжали на север или на шахты, чтобы заработать солидные деньги и вернуться к себе на родину, обустроить дом, усадьбу, создавать семью. На севере такие увлечения больше зависели от характера того или иного человека, а не от общего увлечения. Не потому ли именно на севере раньше, чем в других местах России, начали хиреть деревни, а потом и полностью исчезать. Но это – так, общие примитивные умозаключения, не имеющие отношения к моим первым шагам в деревне, в которую я вернулся через три с половиной года.

Одежда

Когда я приехал, понадобилось меня полностью одеть – вырос. В магазинах ни черта, за год кое-как справили летнюю куртку, какой-никакой костюм, плащ, несколько рубашек, ботинки. Папа вспомнил старые навыки и на зиму скатал нам всем валенки. Искали для меня хоть какое-нибудь пальто, а я увидел в сельпо фуфайку не серого эковского вида, а веселого синего цвета и сказал, что мне ее будет достаточно. В ней я и проходил две зимы до окончания школы.

У братьев тоже было не густо. Правда, зимой они одевались в полупальто из толстой шерстяной ткани. При этом Борис, отдавая дань тогдашней моде, щеголевато носил белое кашне. Борис обзавелся после возвращения из армии добротным темно-синим бостоновым костюмом. Валентин привез из Германии вельветовую куртку с молнией и две футболки, еще ему сшили пиджак и купили брюки. Поскольку ростом и комплекцией мы особо не различались друг от друга (Валя немного повыше, но худой, Боря ниже его, но шире в плечах и крепче в ногах, я был хилым и средним между ними) так что могли пользоваться все одними и теми же вещами. Когда кому-то из нас требовалось выглядеть понаряднее, тот надевал Борин костюм. В этом случае другие пользовались тем, что оставалось. Борис как-то сказал во время этих сборов:

– Хорошо бы всем купить одинаковые костюмы и всем месте показаться в поселке. Чтобы не думали, что мы носим одно и то же.

Мы с Борисом тяготились складывавшейся жизнью. Валентин все воспринимал, как неизбежность. Папу и маму начали беспокоить их частые пьяночки. Но, слава Богу, до семейных скандалов не доходило. Борис подспудно искал каких-то перемен для себя. Я знал, что буду начинать самостоятельную жизнь после школы, но еще не четко представлял ее. Все, конечно, были уверены, что я буду учиться дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.